

В форуме «Десять лет и двадцать номеров спустя» приняли участие:

Левон Амаякович Абрамян (Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Армения, Ереван, Армения)

Юрий Евгеньевич Березкин (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург / Европейский университет в Санкт-Петербурге)

Владимир Павлович Богданов (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)

Константин Анатольевич Богданов (Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербург / Университет Констанца, Германия)

Катриона Келли (Catriona Kelly) (Оксфордский университет, Великобритания)

Жанна Владимировна Кормина (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург)

Екатерина Александровна Мельникова (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург)

Сергей Юрьевич Неклюдов (Российский государственный гуманитарный университет / Школа актуальных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва)

Александр Александрович Панченко (Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербург)

Мадлен Ривс (Madeleine Reeves) (Университет Манчестера, Великобритания)

Сергей Валерьевич Соколовский (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва)

Иоахим Отто Хабек (Joachim Otto Habeck) (Институт социальной антропологии, Гамбургский университет, Германия)

Николас Харни (Nicholas Harney) (Университет Западной Австралии, Перт, Австралия)

Флориан Штаммлер (Florian Stammer) (Арктический центр, Университет Лапландии, Финляндия)

Марк Эделе (Mark Edele) (Университет Западной Австралии,
Перт, Австралия)

Дебра МакДугалл (Debra McDougall) (Университет Западной
Австралии, Перт, Австралия)

Десять лет и двадцать номеров спустя

ВОПРОСЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

Десять лет назад в первом номере нашего журнала мы обсуждали основные тенденции в антропологических исследованиях того времени¹. Сегодня ответы на многие вопросы, которые задавала тогда редколлегия, выглядят самоочевидными. Сейчас никого не удивит смещением фокуса исследований из деревни в город, или вниманием антропологов и фольклористов к современности, или сдвигом интереса с традиционных тем на новые — вроде ритуализованных форм поведения или «периферийных» жанров фольклора.

Двадцать номеров спустя мы хотели бы вернуться к теме первого выпуска и поразмышлять о том, что изменилось в наших дисциплинах за эти десять лет. Редколлегия предложила участникам «Форума» ответить на следующие вопросы:

1

Как изменилось за последние 10 лет проблемное поле той области, которой вы занимаетесь, и вашей дисциплины в целом?

2

Какие перемены произошли в научном сообществе: состав исследователей, их возраст, тематические предпочтения? Как «старшему» и «младшему» поколениям ученых видятся интересы друг друга, какие темы их привлекают, а какие уже / еще нет?

¹ Современные тенденции в антропологических исследованиях // Антропологический форум. 2004. № 1. С. 6–101. <http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/001/01_01_forum.pdf>.

- 3 Как изменились отношения науки с внешним миром (государством, обществом) и антропологических дисциплин со смежными областями исследования?
- 4 Существуют ли сегодня школы, которые определяют векторы развития вашей дисциплины, или эти векторы задаются работами отдельных исследователей?

ЛЕВОН АБРАМЯН

1

Вопросы «Форума» побудили меня оглянуться на то, что происходило за последнее десятилетие в области, которой я занимаюсь, и я понял, что для меня проблемное поле не очень изменилось. И в этом я не увидел ничего хорошего — для себя, конечно. Я, как и другие сотрудники отдела антропологии современности (в Институте археологии и этнографии НАН РА), продолжаю изучать все то, что нас окружает, исчезает и изменяется. Отвечая на вопросы первого «Форума», я амбициозно полагал, что антрополог может в принципе зафиксировать всё, описать микроэтнографически настоящее, оставив мало работы для микроисториков будущего. Сейчас я так не думаю. Более того, своими произвольными описаниями мы скорее всего еще больше запутаем историков будущего.

В книге “Armenian Identity in a Changing World” [Abrahamian 2006] эту неопределенность и открытость в описании я попытался передать через структуру книги, где главы построены как аллеи и тропинки в условном сквере идентичности, который на одном уровне может образоваться в райский сад, а на другом — в лабиринт, «сад расходящихся тропок», из которого нет выхода.

Левон Амаякович Абрамян
Институт археологии
и этнографии Национальной
академии наук
Республики Армения,
Ереван, Армения
levon_abrahamian@yahoo.com

В другой книге, вышедшей вскоре после первого «Форума» [Абрамян 2005], я попробовал выразить неопределенность и многозначность своего проблемного поля уже в другом плане, который некоторые считают не совсем наукой, другие, наоборот, и вовсе не наукой. В «Беседах» делается попытка вернуться к состоянию, когда поэзия, магия, наука и искусство еще не были расчленены, но с учетом сегодняшнего уровня знания и нашей необратимой расщепленности. В некотором роде такой подход сродни той близости антропологического включенного наблюдения и художественного творчества, о которой в последнее время говорит Тим Ингольд [Ingold 2013a; 2013b]. Чувство, близкое к мистическому переживанию, испытываемому антропологом, изучающим современность, которое можно заметить в оценках Тима Ингольда, думаю, связано с экзистенциальным переживанием при наблюдении / пребывании в системе, открытой для любых изменений, в том числе изменений самого свидетеля-антрополога. Характерно, что описанное, можно сказать, прошлое определяется им как «этнография». Здесь для него важна именно «графия»: если бы имелось название «антропография», то он, скорее всего, выбрал бы это слово. Полностью разделяя его чувство / понимание наблюдаемого, открытого для будущего, могу добавить, что приобщение к этнографическому следу, оставленному в прошлом, — для меня не менее волнующее «включенное наблюдение», но направленное в прошлое. Об этом я уже говорил немного в первом «Форуме» — об антропологе как шамане. За последние десять лет эти два чувства причастности — к толкуемому по следам прошлому и толкуемому по приметам будущему — у меня еще больше обострились. Два толкования можно сопоставить с двумя герменевтиками по Вардану Айрапетяну — ученой герменевтикой, реконструирующей, смотрящей в прошлое, и народной, предсказывающей, смотрящей в будущее [Айрапетян 2011: д121; д1211; д63].

2

«Младшее» поколение в целом выбирает «проходные» темы. Особенно если эти темы грантовые. Нередко их названия более привлекательны, чем содержание. Впрочем, это можно заметить и в международной антропологической практике — достаточно сравнить заглавие и содержание статей во вполне авторитетных журналах.

В 1990-х гг. Академия наук Армении решила полностью перейти на грантовую основу: закрыли финансирование длительных бюджетных тем и стали финансировать кратковременные тематические группы. Я был членом экспертной комиссии по финансированию заявок в области социальных наук, и мне бросилось в глаза, что каждая тематическая группа стремилась подать тему с интригующим заглавием, чтобы выдержать кон-

курению. Темы финансировались всего на три года, и нужно было убедить комиссию, что это важная, глубокая и оригинальная тема. Понятно, что фундаментальные темы не всегда звучат интригующе, более того, они могут показаться скучными; между тем заявки, обещавшие фундаментальные исследования, не могли их осуществить, так что чем более фундаментально и интригующе звучала тема, тем меньше имелось шансов осуществить ее на должном уровне. В следующей заявке исследователи заявляли уже о другой привлекательной теме из опасения, что то же самое не оплатят во второй раз. Тем самым под «глубокими» заглавиями мы получали в итоге мелкие работы, за которыми следовали новые заявки на глубокомысленные темы с очевидным поверхностным исполнением. В настоящее время вернулись к «скучной» фундаментальной бюджетно-финансируемой тематике, грантовые же темы остались в незначительном количестве. Сегодняшние «проходные» темы младшего поколения напоминают мне описанный провалившийся научно-финансовый эксперимент.

Другая проблема, навязанная ученым, занимающимся социальными науками, их коллегами из точных наук, это начетническая практика импакт-факторов и необходимость печататься в конкретных, престижных и псевдопрестижных, изданиях — по стандартной форме, с минимализацией или исключением всего того, о чем я говорил в пункте 1. Здесь я тоже полностью согласен с Тимом Ингольдом, который замечает, что сегодня больше пишут, чтобы удовлетворить издателя, чем читателя: одно из его интервью имеет говорящий подзаголовок «Скажи мне, в каком журнале ты печатаешься, и я скажу тебе, кто ты» [De Lauri 2013]. Вместе с тем я с неохотой понимаю, что это действенный способ защитить профессиональных антропологов от самозванных этнографов (о них — в пункте 3) и высокопоставленных чиновников, желающих получить степень в общественных науках.

Отношения между «старшим» и «младшим» поколениями видны также в контексте вопросов, поднятых в пункте 4.

3

Профессиональный антрополог перестал быть ключевой фигурой, которой он или она в некотором смысле еще продолжали быть десять лет назад. Таковой они были в конце 1980-х и начале 1990-х, в период распада СССР и формирования новых республик. Это был общесоюзный феномен. Игорь Крупник рассказывал мне о московской ситуации, когда от антропологов (тогда еще этнографов) ожидали разъяснения происходящего, причем не только в верхах, требовавших от них экспертных консультаций; к ним обращались и простые люди. Та же ситуация была в Ереване. Однако антропологи и сами вдруг

осознали свою причастность, вернее, причастность своей дисциплины к неожиданным изменениям — недаром среди политиков смутного времени оказались и антропологи, лучшие из которых поплатились жизнью за такое смещение профессионального интереса.

Сегодня в Армении государство и общество мало нуждаются или вовсе не нуждаются в профессиональных антропологах, зато на экранах телевизоров и страницах газет появилось множество самозванных этнографов. Думаю, здесь сыграло свою роль название дисциплины на армянском языке *azgagrut'yun* — калька с *этнографии*. Дело в том, что вместо «не своего» слова *этнос* (в армянском оно уже имелось в форме *het'anos* 'языческий, язычник') здесь использовано «свое» слово *azg*, которое имеет богатый набор значений от 'племени', 'народа' до 'нации' — последнее значение оно приобрело тогда, когда в разных языках появилось слово *нация* в одном конкретном или в двух-трех значениях (ср. англ. *nation*). Но в армянском корень *azg* слышится в таких обычных словах, как *azgakan* 'родственный', 'родственник', *azganun* 'фамилия', да и само слово *azg* понимается в своем первоначальном значении 'род'. Поэтому армянский национализм тяготеет к родовым понятиям (можно показать, что также к семейным [Abrahamian 2007: 267–277]), чему способствует к тому же чрезвычайно высокая моноэтничность республики (98,6 % армян). Неудивительно, что этнография здесь может пониматься как «нациография», тем самым дисциплина «естественно» становится инструментом для разного рода патристических, примордиалистских и националистических построений. Очевидно, подобные процессы самоутверждения характерны для всех новых или возрождаемых национальных формирований, но в Армении эти процессы получили дополнительную «дисциплинарную» поддержку. Выход из положения некоторые видят в «сдаче» этнографии националистам и принятии профессионального самоопределения «культурный / социальный антрополог» (в армянском переводе). (Как видим, дифференцирование на этнографию и антропологию здесь проходит совсем в другом ключе, чем мы говорили об этом в пункте 1.)

Другие же видят выход в создании альтернативного неинституционального поля, не только конкурирующего с узко национально-ориентированной этнографией, но и размывающего жесткие границы между социальными дисциплинами, воспроизводимые академическими учреждениями и вузами. Таким полем можно считать, например, еженедельные методологические семинары в Институте археологии и этнографии НАН РА, вот уже два года собирающие аудиторию по социальным сетям

для обсуждения различных проблем антропологии и смежных областей. И это далеко не единичный пример.

Показательно, что вопреки сказанному в начале этого пункта профессиональные антропологи все же в какой-то мере востребованы обществом, пусть даже небольшой его частью. Так, активисты протестного гражданского движения, отстаивавшие зимой 2012 г. публичное пространство (сквер в центре Еревана, который хотели застроить бутиками) и продолжившие социальную активность по многим другим поводам, по словам моего коллеги, изучавшего это движение, искали ответы на вопросы, возникавшие в процессе движения, именно у антропологов. С некоторой долей преувеличения можно заключить, что если этнографы (в обсуждавшемся в этом пункте смысле) востребованы сверху (национально-ориентированными СМИ, органами и партиями власти), то антропологи востребованы снизу — пусть небольшой, но важной частью гражданского общества.

4

Две части этого вопроса взаимосвязаны — во всяком случае, так это мне представляется для сегодняшней Армении. Векторы развития дисциплины задаются работами отдельных исследователей, формирующими в итоге определенные направления, которые в принципе можно назвать школами. Я имею в виду внутреннюю структуру научного поля, а не внешние идеи и школы, на основе которых может образовываться эта структура. В целом это противопоставление «старшего» и «младшего» поколений ученых, причем противопоставление не обязательно возрастное. «Старшие», по сути, воспроизводят существовавшие принципы и нормы этнографии, что направлено прежде всего на «спасение» [Dabaghyan 2011] быстро утрачиваемого (сегодня речь может идти уже только о быстро забываемом), а также сохранение мировоззренческих и методологических принципов, нередко XIX и начала XX в. В каждом отдельном случае «старшие», последовательно ссылаясь, доходят до непререкаемого авторитета того или иного ученого (почившего или здравствующего) или национальных приоритетов, «младшие» же пытаются толковать наблюдаемое ими при помощи различных, иной раз противоречивых, теорий и методик или же пытаются деконструировать канонические построения «старших».

В целом эти две группы (на деле их несколько) достаточно терпимы друг к другу и живут параллельными жизнями, противоречия могут временно обостриться лишь в случае редкого пересечения этих линий — во время нечастых совместных конференций и общих сборников. Характерный пример такого противостояния (правда, в области истории) можно видеть в затянувшемся споре о первом томе академического четырех-

томного издания истории армянского народа (в 2010 г. уже увидели свет первые части третьего и четвертого тома). Показательно, что в отличие от восьмитомной «Истории армянского народа», увидевшей свет в советское время (1967–1984), настоящее издание решили назвать по традиционному ранне-средневековому образцу — “Hayots patmut‘yun”, что тогда могло пониматься и как «История Армении», и как «История армян»: в древнеармянском грамматически допустимы оба значения, и при переводе используются обе формы (первая — в русских переводах, вторая — в английских) с далеко идущими и противоположными заключениями о природе и начале формирования армянской идентичности¹. Новое издание в русской аннотации определено как «История Армении» (имеется только аннотация на русском языке). Но в первом томе, очевидно, должно говориться о предыстории армянского народа, которую по-разному представляют себе авторы двух противопоставленных школ, двух «поколений», по-разному видящих историю своего народа.

Библиография

- Абрамян Л.* Беседы у дерева. М.: Языки славянских культур, 2005.
- Айрапетян В.* Толкуя слово. Опыт герменевтики по-русски. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2011.
- Abrahamian L.* Armenian Identity in a Changing World. Costa Mesa, CA: Mazda Publishers, 2006.
- Abrahamian L.* Troubles and Hopes in Armenian Family, Home and Nation // Ts. Darieva, W. Kaschuba (eds.). Representations on the Margins of Europe. Politics and Identities in the Baltic and South Caucasian States. Frankfurt; N.Y.: Campus Verlag, 2007. P. 267–281.
- Dabaghyan A.* Salvage versus Knowledge: Armenian Ethnography across Soviet Times // F. Mühlfried, S. Sokolovskiy (eds.). Soviet Era Anthropology in the Caucasus and Central Asia. Berlin et al.: LIT, 2011. P. 151–173.
- De Lauri A.* Interview: Tim Ingold on the Future of Academic Publishing // Allegra: A Virtual Lab of Legal Anthropology, 5.11.2013. <<http://allegralaboratory.net/interview-tim-ingold-on-the-future-of-academic-publishing/>> (22.12.2013).
- Ingold T.* Anthropology and the Art of Inquiry, 24.09.2013a. <<https://videolab.avnet.kuleuven.be/video/?id=d03c5d7b8e0a4ef727abf6f84d472ecf>> (22.12.2013).
- Ingold T.* (Slow) Food for Thoughts: Ingold on Anthropology T, Art and Self-transformation // Allegra: A Virtual Lab of Legal Anthropology, 9.10.2013b. <<http://allegralaboratory.net/slow-food-for-thoughts-ingold-on-anthropology-art-and-self-transformation/>> (22.12.2013).

¹ См. обсуждение данного вопроса в: [Abrahamian 2006: 35–36, 137–138].

ЮРИЙ БЕРЕЗКИН

1 Подозреваю, что мои ответы будут существенно отличаться от остальных. Проблемное поле моей дисциплины не изменилось, поскольку оно не связано с теми тенденциями в развитии антропологии, о которых идет речь. Меня ведь интересует прошлое — желательнее ранее тысячи, а лучше — трех-четырёх тысяч лет назад. Доля же соответствующих исследований, которая и в 2003 г. была небольшой, лишь продолжает сокращаться.

2 Старшее поколение людей, с которыми мне интересно и полезно разговаривать на профессиональные темы, вымирает. Вот только что скончалась Елена Ефимовна Кузьмина — выдающийся археолог, ведущий специалист по проблемам расселения индоевропейцев и определения прародины носителей иранских языков. Кто-то еще жив, но отошел от активной деятельности. Молодого поколения (точнее, уже двух поколений) почти нет, точнее этих людей слишком мало, чтобы обеспечить необходимую плотность связей — и личных, и особенно профессиональных. Вряд ли это положение в обозримом будущем изменится. Люди, кончающие школу и даже университет, в подавляющем большинстве не обладают знаниями, которые мне кажутся необходимыми, а их профессиональные интересы редко пересекаются с моими. За истекшие 10 и тем более 15–20 лет информационный фон в обществе существенно изменился. Я менее всего склонен думать, что нынешняя молодежь знает меньше, чем знал я, когда мне было 20 или 25. Но знают они про другое: компьютерные программы, айфоны и планшеты, способы добывания грантов, заказы билетов и поиск хостингов, ну и, наверное, научные теории и школы. Зато знания в области истории, географии, астрономии да, скорее всего, и литературы — все более ограничены. Знание языков также

Юрий Евгеньевич Березкин

Музей антропологии
и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН,
Санкт-Петербург / Европейский
университет в Санкт-Петербурге
berezkin1@gmail.com

неудовлетворительно. В лучшем случае это приличный английский, но немецкий, французский — редко. При этом возможности освоения языков и возможности использовать это знание в работе и повседневной жизни сейчас совершенно не сопоставимы с тем, что было в эпоху железного занавеса. Я бы сказал, что подобные тенденции хорошо сочетаются с другими, характерными для нашего общества, — от введения ЕГЭ до ликвидации АН. Наука и образование смыкаются с бизнесом, где важны эффективность, измеряемая графиками, индексами и рейтингами. И странно было бы утверждать, что эффективность и производительность не нужны. Похоже на переход от ремесленного производства к фордовскому конвейеру. Тосковать по добрым старым временам глупо, но полюбить новые я все же вряд ли сумею. Я всегда критически относился к Т. Куну: развитие науки есть смена идей и методов, которые большинство в научном сообществе выбирает как наиболее удобные, а вопрос о том, какая из парадигм лучше отражает реальность, не является корректным. С тем, что никакого «на самом деле» нет, я никогда не соглашусь, но отчасти Кун оказался прав: при смене парадигм внимание исследователей и общества перемещается на другие объекты и темы, и то, что недавно казалось важным и интересным, больше не привлекает внимания. Даже подтверждение существования бозона Хиггса общество восприняло как незначительный эпизод из очередной мыльной оперы. Что уж говорить про раннюю керамику Восточной Азии или маршруты заселения Нового Света.

В последние годы среди абитуриентов, подававших документы для поступления на факультет антропологии в Европейском университете, было все больше тех, кто не имел соответствующего образования и вообще мало что знал о специальности, с которой вроде бы собрался связать свою жизнь. Неужели это значит, что антропология воспринимается как «мягкая» наука, где требуются не знания, а болтовня? Другой тревожный симптом, с моей точки зрения, — учебник этнологии / этнографии «для бакалавров», подготовленный на истфаке СПбГУ, который вот-вот должен выйти. Менее всего хотелось бы критиковать конкретных авторов (я и сам среди них со своими «народами Америки»), хотя термин «протоцивилизация» или размещение прародины «ностратической общности» в северо-восточной Африке приводят в трепет. Смешна транслитерация «стоки» (stocks) как синоним макросемьи — как не вспомнить болгарское «хранителни стоки» (продтовары). Вообще же кажется, что некоторые авторы десятилетиями жили в затворничестве, а теперь постарались быстро-быстро перелистать С.И. Брука.

Но дело не в этом. Студентам «ностраты», скорее всего, столь же безразличны и непонятны, как и все, что сказано об австро-

незийской или «андо-экваториальной» семьях. Подобную информацию можно случайным образом перемешать — результат бы не изменился. Проблема в другом: скучно (чуть интереснее про Л.Н. Гумилева — автору текста он, похоже, не безразличен). Нормальный человек, прочитав подобный учебник, заниматься антропологией не захочет. Но у нас система с обратной связью: плохие учебники — незаинтересованные студенты, у студентов нет интереса — нет смысла стараться с учебником. Кто-то и сам, конечно же, выучится, если получил нужный импульс в семье, но если вспомнить, как много людей, способных дать подобный импульс своим детям, уехало из России, перспективы не слишком радужны.

3

Не берусь отвечать за науку в Америке, Европе или Японии, но в России наука не нужна ни обществу, ни элите. Если наши институты вместе со всеми своими сотрудниками вдруг исчезнут, никто не обратит на это внимания. Показательно, что поразительные открытия, сделанные за последние 20 лет, остались обществом не замечены. Было бы интересно провести опрос, кто и в каких социальных группах хоть что-то знает про темную материю или Гёбекли-тепе — боюсь, что даже среди людей с высшим образованием и процента не наберется.

Посмотрел по каналу ОРТ обсуждение темы липовых диссертаций у чиновников. Оказалось, что не страшно, если человек скопировал целую главу диссертации с зарубежной работы — главное, что сам поработал, да и глава второстепенная. А если содранные с чужих работ абзацы не закавычены, то это вообще лишь небрежность и торопливость. Все это — без малейшей иронии — говорили люди, имеющие отношение к науке. Нетрудно догадаться, что думают о науке сами чиновники и как они к ней относятся.

Экономический кризис тоже усложнил ситуацию. После 2008 г. американские грантодержатели стали лучше считать деньги и редко готовы оплачивать билеты для заокеанских участников конференций. Так что сладкая жизнь середины 2000-х, когда оставалось лишь выбирать между Санта-Фе и Анкориджем, закончилась. Что касается связей антропологии со смежными областями исследования, то связи эти односторонни — с социологией и психологией. Насколько они плодотворны — об этом судить не берусь, просто не знаю. Однако связи с историческими дисциплинами почти вовсе оборвались.

Ныть по этому поводу неинтересно — хочется определить то *longue durée*, в которое вписываются нынешние процессы. Мне кажется (хотя вопрос крайне дискуссионный), что корни уходят в XIX в., а если поближе во времени — то в разгром немецкой науки после Второй мировой войны. Немецкая антро-

пология была странной и, вульгарно выражаясь, кривой. Читая некоторые рассуждения Л. Фробениуса или К.Т. Пройса, начинаешь сомневаться: да в здравом ли уме были эти люди? Тем не менее это была великая научная школа, и без немецких исследований в Южной Америке, Африке и Океании наши базовые знания о фольклоре и этнографии народов мира были бы ущербны. Да и оба гения физики, А. Эйнштейн и М. Планк, не в Америке, в конце концов, родились. Немецкая антропология не могла дальше существовать в том виде, в каком она находилась в 1930-х гг., это был просто анахронизм. Но вместо того чтобы развиваться и модернизироваться, немецкая школа в качестве отдельного направления, ориентированного на изучение прошлого, а не настоящего, как английская, прекратила свое существование.

Нечто подобное происходит в России. Происхождением российская наука связана с немецкой, но известные события столетней давности прервали ее естественное развитие. Изоляция советской науки от мировой — очередная трагическая страница отечественной истории. Однако после краха советской системы наша наука не столько воспользовалась открывшимися возможностями, сколько занялась самоликвидацией. Что-то, конечно, останется, ведь и в Германии люди успешно работают. Но сохраниться в качестве самостоятельного научного центра Россия не сможет. И это плохо не только для России (кому она сейчас интересна), а прежде всего для науки — опасно складывать все яйца в одну американскую корзину.

4

Интересы не изменились, методы (надеюсь) немного усовершенствовались, а объекты и география исследований несколько сместились. База данных мирового фольклора <<http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin>> начала создаваться в 1990-х гг. для решения конкретной проблемы — путей заселения Нового Света, поиска тех регионов в Азии, фольклор и мифология которых содержат наибольшее количество параллелей с фольклором и мифологией индейцев. Поэтому до середины 2000-х в ней были представлены в основном те зафиксированные в Старом Свете мотивы и сюжеты, которые обнаруживают в Америке аналогии. Однако постепенно мои интересы переместились в Евразию и Африку. С Африкой более или менее понятно: десяток древних мотивов, известных еще ранним сапиенсам, а почти все остальное — недавно из Азии. А вот разобрататься с евразийским фольклором — это, что называется, challenge.

ВЛАДИМИР БОГДАНОВ

Прошедшее десятилетие оказалось очень продуктивным для полевых исследований. Развитие материально-технической и информационной базы значительно активизировало работы в этом направлении: усовершенствовались методология поиска и анализа, методика сбора и фиксации материала. Стирание границ между исследователем и информантом (в первую очередь, благодаря «устной истории») способствует лучшему диалогу между ними¹. В то же время исследователи все активнее вводят в научный оборот полевые материалы, собранные ранее².

При этом, безусловно, изменилось само проблемное поле. Если раньше исследователи занимались вопросами местной истории, проблемами социальных практик, принятых в том или ином сообществе, то теперь все больше и больше появляется работ, которые стараются приоткрыть завесу запретного (во всяком случае, когда-то запретного) знания. В полевой археографии замечено, что уже сами носители традиции, теперь не столь строго соблюдающие запреты, стали если не с удовольствием, то, во всяком случае, без особого стеснения рассказывать о колдовстве, нечистой силе и т.д. Е.Б. Смилянская совершенно справедливо отметила: «Даже у приобщенных соборных старушек³ ныне почти всегда вызывает понимание обращение их “изуроченных” соседей к “сильным средствам”, которыми выступают заговоры (как выше — “специальные слова”), помощь “чужих”, более “сильных” колдунов и “ворожеек”. В борьбе

Владимир Павлович Богданов
 Московский государственный
 университет
 им. М.В. Ломоносова
 vrbogdanov@gmail.com

¹ Об этом много говорилось в одном из предшествующих «Форумах» журнала: [Устные материалы 2012]. О том, что «устная история» стирает границы между исследователем и респондентом, см. также: [Томпсон 2003: 24–26].

² Все эти тенденции прекрасно видны в книге: [О своей земле 2012].

³ Речь идет о старообрядцах-беспоповцах, центрами духовной жизни которых являются «соборы» (в Верхокамье) или «братии» (на Южной Вятке), которые должны вести праведный образ жизни, максимально отдаленный от светской суеты.

с отреченным миром все средства оказываются приемлемыми, нарушается даже пресловутая культурно-конфессиональная замкнутость старообрядцев, которые “врачуются” и у соседей-удмуртов, и у никониан-русских, и у коми. Правда, еще пару десятилетий назад за обращение соборных к таким способам целительства и противодействия магии, как, впрочем, и за обращение к врачам и принятие лекарств, на них накладывались тяжелые епитимьи и длительные отлучения от совместного молитвенного общения. Но ныне о таких правилах стали помнить все реже» [Смилянская 2012: 141]. Примечательно, что из 18 нарративов о нечистой силе и 15 нарративов о колдунах, записанных в Верхокамье, лишь по одному было записано ранее 1990-х гг. [Материалы 2013].

Впрочем, снятие запретов касается не только изучения феномена колдовства, но и таких сфер, как конфликты, девиантное поведение, разные заболевания и проч. в замкнутых социумах. Все это стало возможным из-за большей открытости информантов по сравнению с более ранним временем. В некоторых областях сделаны неожиданные открытия. Например, исследования В.Л. Дьячкова показали, какие проблемы со здоровьем испытывали женщины в СССР¹. Оказалось, что фактически каждая вторая женщина в СССР делала аборт [Дьячков 2008: 163]. Тема эта, достаточно щекотливая, вряд ли могла быть затронута еще 15 лет назад. Говорить о ней было не принято, хотя она нашла отражение даже в кинематографе². Как представляется, в обществе наметилась тенденция к некоему «душевному стриптизу». Если раньше за некоторые щекотливые вопросы информант мог резко оборвать интервьюера, то теперь он охотно отвечает на них. Видимо, это усугубляется влиянием mass media, где подобные тенденции, воплощаемые в ток-шоу и прочих вариантах, давно стали нормой. Если раньше сплетни были достоянием узкой социальной среды, то благодаря mass media теперь они становятся известны широкому кругу читателей желтой прессы, «женских журналов», телезрителей и радиослушателей. Соответственно, меняется к ним отношение и со стороны исследователей³. В частности, вряд ли

¹ Упомянутая работа не содержит каких-либо имен и соблюдает в этой области абсолютную анонимность.

² В фильме «Дни хирурга Мишкина» (1976) герой О.Н. Ефремова, провинциальный врач, вспоминает о том, что в молодости часто приходилось делать аборт, а теперь он за это взяться не готов. В фильме «Белые росы» (1983) герой В.В. Санаева упрекает сына, что он с женой «детей по поликлиникам разнесли». Возможно, обращение к художественной литературе, памятникам кинематографии, где фигурируют вымышленные, но созданные на основе реальных человеческих судеб персонажи, позволит историкам объективно изучать щекотливые темы, подходя к ним более отстраненно. Когда говоришь на эти темы с живыми людьми, всегда остается не до конца решенным вопрос этики.

³ В этом плане интересны работы А.Н. Кушковой ([Кушкова 2003 а; 2003 б] и др.).

фраза «можно вообще брезговать “сплетнями”» могла бы встретиться в серьезной литературе десятилетия назад. Ответ был бы один: «Не можно, а нужно». Теперь исследователи нередко провоцируют информантов на интимные подробности, старательно фиксируя их в полевых дневниках или диктофонных записях.

Влияние mass media еще сильнее обозначилось за последние десять лет. В 2009 г. духовный отец местных староверов-филипповцев обратился к детям, приехавшим на годовое поминание к своим родственникам из города: «Хорошо иметь домик в деревне?» Годом раньше участники археографической экспедиции узнали (правда, от рядового члена братии), что конец света наступит «21 декабря 2012 г. — так и ученые говорят (планеты — Марс, Венера, Сатурн — определенным образом выстроятся — “одинаково от солнца”)». Господь сказал, что все тайны дам исповедать, а жизни не дам». Далее было сказано, что где-то во Франции ракету делают, чтобы узнать о тайнах появления земли, однако от этой ракеты может конец света начаться [АМАЛ. 2008 г. Дневник В. Богданова, 04.08.2008. С. 3. Ч-на Ф.Е., 1940 г.р., филипповка-шихалевка, с. Шурма Уржумского р-на Кировской обл.]. И реклама продукции «Домик в деревне», и андронный коллаيدر (создаваемый, правда, в Швейцарии, а не во Франции) стали известны благодаря телевизору, который еще совсем недавно не полагалось иметь членам братии (не говоря уже о духовном лидере). Кроме того, благодаря интернету работы исследователей могут доходить до носителей традиции, что не может не корректировать научных изысканий¹.

В плане современного состояния дихотомии «город — деревня» нельзя не сказать о дальнейшем взаимопроникновении двух субкультур. В частности, сейчас отдельные сельские духовные лидеры окормляют и городскую паству. Например, духовный отец верхокамских поморцев-максимовцев, проживающий в с. Соколово, «принимает» поморцев из Перми, при этом имеет соответствующее разрешение, выданное в 2010 г. Российским советом древлеправославной поморской церкви в Москве. И наоборот, некоторые активисты сельских общин стараются стать «своими» в городских общинах, хотя на родине они не всегда могут добиться требуемого для лидерства авторитета².

Что касается в целом смещения фокуса исследований «из деревни в город», то этот процесс развивается все стремительнее.

¹ Об этом подробнее см.: [Устные материалы 2012: 23–24].

² О взаимоотношениях федосеевских городских и сельских общин см.: [Солдатов 2012].

И причина заключается, как правило, вовсе не в развитии науки в определенном направлении, а в изменении внешней среды — катастрофическом обезлюдении деревни, которая, кстати, все меньше походит сама на себя. Процесс этот наметился еще в 1970—1980-е гг. Как вспоминает И.В. Поздеева, «десятки деревень исчезли буквально на глазах уже в первые два-три года работы» [Поздеева 1996: 13]. Об этом процессе красноречиво свидетельствует одно письмо: «Марью Овдиху Фотия увезла дето оне живут за Беловой и Марья померла 20 мая нарот розъехался мало остались Марко уехали хто куда Синка Митина уехал Санка Синкин уехали Жуланиха уехали Игольников уехали Семен уехали Еремиха уехали Марусика Ванина уехали Мишха уехали Мишка Микешын уехали Тая уехала Онтон Жиданов уехали Ленника Еграфов уехали Савва уехали Викетика уехали» [Материалы 2013: 186].

Уже в 2010-е гг. на Южной Вятке четыре наиболее грамотных информанта перебрались из сельской местности в районные и областные центры. При этом отъезд наставницы федосеевской общины с. Русский Турек привел вообще к прекращению местной федосеевской традиции: братия распалась, а последняя «братская старушка» скончалась в 2012 г. Кроме того, и сама жизнь в деревне в настоящее время мало отличается от городской (если только удобствами). Как правило, сельские жители перестали держать скот, сократили огороды, что влечет за собой изменения и в привычном распорядке, а стало быть, и в традиции.

Если в 2004 г. признание одного из участников «Форума» в том, что объект полевого исследования сам пришел к нему, выглядит очень трогательно и несколько необычно [Современные тенденции 2004: 9], то теперь это в значительной степени общая тенденция. Впрочем, уже в этом высказывании Л.А. Абрамяна звучит тревога по поводу смещения ракурса исследования: поскольку деревенская культура, менее подверженная изменениям, чем городская, издавна рассматривалась в качестве средоточия национальной культуры, то сам факт сдвига интереса к городской культуре «сигнализирует об утрате интереса к корням культуры, к проблеме начала». Здесь уместно вспомнить, что А.С. Пушкин ко второй главе «Евгения Онегина» поставил эпиграф «O rus!.. O Русь!», обыгрывая латинское «rus» (деревня) и традиционное название российского государства.

Перемены в самом научном сообществе заключаются в появлении новых лидеров и ослаблении позиций старых. Причем ослабление это происходит очень часто из-за субъективных причин. В частности, за последние десять лет Межкафедральную археографическую лабораторию исторического факульте-

та МГУ им. М.В. Ломоносова покинул целый ряд археографов-полевиков: В.И. Ерофеева, много лет руководившая археографической практикой (в том числе и полевой), кандидаты наук Е.В. Градобойнова, А.В. Дадыкин, М.В. Макаровская, И.И. Пряхина¹ и др. Теперь судьба этого центра не может не вызывать опасения (ведь еще раньше его покинули такие известные исследователи старообрядчества, как Е.Б. Смилянская, Е.А. Агеева...).

Что касается новых центров, то 2000–2010-е гг. ознаменовались настоящим бумом полевых исследований. В частности, в Кировской области появилась весьма активная школа И.Ю. Трушковой, занимающаяся широким спектром антропологических проблем, плодотворно собирающая и использующая полевой материал.

К сожалению, разные центры полевых исследований далеко не всегда согласовывают свои работы с коллегами. Это не только приводит к тому, что разные экспедиции ходят друг за другом по одним и тем же адресам, но и нередко сказывается на слабой проработке историографии тех или иных вопросов. Исследователи зачастую убеждены, что тема, которую они разрабатывают, раньше никого не привлекала, хотя параллельно эта же тема разрабатывается другим центром. В этом плане примечательна, в частности, статья Е.И. Кривошеиной [Кривошеина 2010], в которой автор обращается к старообрядчеству Южной Вятки, абсолютно не учитывая работ московских коллег² и лишь частично учитывая исследования кировских ученых. Подобная ситуация тем более удивительна, что информационное пространство, в котором работают сегодня историки, этнографы, социологи, необычайно расширилось и поиск необходимой информации (в частности, историографической) значительно облегчен. Здесь нельзя не отметить позитивного воздействия на исследовательский процесс LIBRARY.RU, презентации в сети Интернет ряда периодических изданий (в частности, «Антропологического форума»), авторефератов диссертаций и т.д.

¹ Следует сказать, что на счету этих авторов ряд важных работ. Так, Е.В. Градобойновой поставлен вопрос о том, что конфликт как фактор развития социума permanently присутствует в старообрядчестве и является его сущностной характеристикой [Градобойнова 2008], М.В. Макаровской и И.И. Пряхиной на примере Верхокамья показана традиция бытования духовных стихов [Кому повем 2007], А.В. Дадыкиным — бытование памятников старопечатной кириллицы на рубеже XX–XXI в.; в частности, им на конкретном материале был сделан вывод о том, что старопечатные издания в старообрядческой среде выполняли (во всяком случае, до недавнего периода) те же функции, для которых они были созданы 300–350 лет назад [Дадыкин 2013]. Полевые дневники указанных авторов легли в основу таких изданий, как: [Материалы 2012; Материалы 2013].

² К 2010 г. уже вышли такие работы, как: [Филипповское родословие 2004; Исэров 2008; Градобойнова 2008].

Впрочем, не может не вызывать опасения прекращение финансирования студенческих практик, заявленное в 2013 г. Активность полевых исследований, проводимых вузами, может значительно снизиться. В то же время финансирование ряда направлений через гранты (показательно в этом плане получение мегагранта для развития исследований в области социальной антропологии Томским университетом¹) позволяет надеяться, что дела в этой области далеко не безнадежны.

Список сокращений

АМАЛ — Архив Межкафедральной археографической лаборатории

Библиография

Градобойнова Е.В. Конфликт как существенная характеристика старообрядческой среды // Традиционная книга и культура позднего русского средневековья: Тр. Всероссийской научной конференции к 40-летию полевых археографических исследований Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва, 27–28 октября 2006 г.): В 2 ч. Ярославль: Ремдер, 2008. Ч. 2. С. 237–255.

Дадыкин А.В. Описание одной из библиотек конфессиональной общины старообрядцев Верхокамья (конец XX в.) // Материалы к истории старообрядчества Верхокамья (по итогам комплексных археографических экспедиций МГУ имени М. В. Ломоносова): Сборник документов / Отв. ред. В.П. Богданов, В.П. Пушкин. М.: МАКС Пресс, 2013. С. 133–182.

Дьячков В.Л. Опросы пожилых женщин: Методика сбора, обработки, особенности данных и некоторые возможности нового массового источника по социально-демографической истории страны в XX в. // Круг идей: междисциплинарные подходы в исторической информатике. Труды X конференции Ассоциации «История и компьютер» / Под ред. Л.И. Бородкина, И.М. Гарсковой. М.: Изд-во МГУ, 2008. С. 163.

Исэров А.А. Традиционная культура старообрядчества Южной Вятки в ее статике и динамике (по материалам полевых исследований Археографической лаборатории исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 1999–2005 гг.) // Традиционная книга и культура позднего русского средневековья. Тр. Всероссийской научной конференции к 40-летию полевых археографических исследований Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва, 27–28 октября 2006 г.): В 2 ч. Ярославль: Ремдер, 2008. Ч. 2. С. 218–236.

«Кому повем печаль мою...»: Духовные стихи Верхокамья. Исследования и публикации. М.: Данилов монастырь, 2007.

¹ <http://tsu.ru/content/news/news_tsu/39680/>.

- Кривошеина Е.И.* Специфика образования в Старообрядческой культуре в Вятском регионе в период социализма // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2010. № 2. С. 102–108.
- Кушкова А.Н.* Сора в традиционной крестьянской культуре: структурно-типологический анализ (вторая половина XIX — XX в.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2003а.
- Кушкова А.Н.* Деревенская сплетня: некоторые особенности бытования и функционирования. 2003б. <www.ruthenia.ru/folklore/kushkova1.htm>.
- Материалы к истории старообрядчества Верхокамья (по итогам комплексных археографических экспедиций МГУ имени М.В. Ломоносова): Сборник документов / Отв. ред. В.П. Богданов, В.П. Пушков. М.: МАКС Пресс, 2013.
- Материалы к истории старообрядчества Южной Вятки (по итогам комплексных археографических экспедиций МГУ имени М.В. Ломоносова): Сборник документов / Отв. ред. В.П. Богданов. М.: МАКС Пресс, 2012.
- О своей земле, своей вере, настоящем и пережитом в России XX–XXI вв. (к изучению биографического и религиозного нарратива) / Под ред. Е.Б. Смилянкой. М.: Индрик, 2012.
- Поздеева И.В.* Продолжение традиции: книжная культура старообрядческого Верхокамья // Мир старообрядчества. Вып. 3. Книга. Традиция. Культура. М.: Бородулино, 1996. С. 6–45.
- Смилянская Е.Б.* «Три дороги есть: одна в ад, другая в огонь, а третья в рай...» Повествования о вере и спасении старообрядцев Верхокамья // О своей земле, своей вере, настоящем и пережитом в России XX–XXI вв. (к изучению биографического и религиозного нарратива) / Под ред. Е.Б. Смилянкой. М.: Индрик, 2012. С. 49–167.
- Современные тенденции в антропологических исследованиях // Антропологический форум. 2004. № 1. С. 6–101.
- Солдатов А.А.* Проблема сохранения идентичности старообрядцев-беспоповцев (на примере Преображенской Федосеевской общины) // Этнокультурные процессы в прошлом и настоящем. К юбилею доктора исторических наук, профессора Клавдии Ивановны Козловой: Сб. науч. ст. / Отв. ред. А.А. Никишенков. М.: Издательство Московского университета, 2012. С. 261–270.
- Томпсон П.* Голос прошлого. Устная история. М.: Весь мир, 2003.
- Устные материалы в архивах: проблемы отбора, хранения и доступа // Антропологический форум. 2012. № 1. С. 7–118.
- Филипповское родословие: исторические сочинения старообрядцев-филипповцев Поволжья и Южной Вятки / Публикация, предисловие и комментарии А.А. Исэрова. М.: Археоксия, 2004.

КОНСТАНТИН БОГДАНОВ

1

Прошедшие десять лет изменили многое. Прежде всего эти изменения касаются, как я думаю, не содержательных, а социально-психологических обстоятельств, оправдывавших антропологические исследования «тогда» и оправдывающих их «теперь». Этнография и фольклористика начала 2000-х — если говорить о ситуации в Москве и Петербурге — в ретроспективе представляется мне временем не очень определенных, но оттого захватывавших надежд и ожиданий. Само появление журнала «Антропологический форум» может служить свидетельством, с одной стороны, осознания дисциплинарно-методологических и институциональных проблем тогдашней этнографии и фольклористики, а с другой — реализации квалификационных перемен в пограничных областях фольклорно-этнографического знания, получившего в отечественном изводе также не очень определенное, но зато воодушевляющее название «культурной антропологии». Роль, которую сыграл «Антропологический форум» в поощрении исследовательского драйва ученых, стремившихся соотносить свои тематические интересы с научными инновациями мировой этнологии и смежных дисциплин, невозможно преувеличить. Не без нажима, но оправданно сказать, что именно «АФ» заполнил собою брешь, существовавшую на тот момент между журналами РАН «Этнографическое обозрение», «Русский фольклор», «Социологические исследования» и «Вопросы языкознания». Тематических преград для просвещенного любопытства не существовало и раньше, но отныне его границы обрели еще одну корпоративную, информационную и издательскую опору.

Занимаясь исследованием исторических фрагментов дискурсивного и социального опыта, я с трудом нахожу им дисциплинар-

Константин Анатольевич Богданов

Институт русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН,
Санкт-Петербург /
Университет Констанца,
Германия
konstantin.bogdanov@
uni-konstanz.de

ное приручение, но способы концептуализации этих фрагментов мне проще мыслить в терминах «культурной антропологии», а не, например, филологии. И сама возможность такого выбора мне представляется благом. Поэтому изменения последних лет в той области знаний, которая соотносится с материалами и статьями, появляющимися на страницах «АФ», я оцениваю позитивно.

Но как нет худа без добра, нет и добра без худа. Свобода в выборе тем и сюжетов, служившая в начале 2000-х гг. стимулом к работе и обретению единомышленников в корпоративном или «воображаемом» сообществе исследователей-антропологов, сегодня видится мне как менее притягательная для многих из тех, кого я хотел бы считать своими коллегами. Если старорежимное прошлое этнографии и фольклористики привычно иллюстрируется примерами методологической схоластики, начетничества и занудства, то отныне появление немалого количества «антропологических» текстов объясняется их предсказуемым соответствием научному фандрайзингу, акцентирующему идеологические, политические и публицистические мотивы. Содержательная ценность таких работ нередко сводится к их названиям, варьирующим на разные лады стереотипы объяснительного «конструктивизма», социального детерминизма и всего того, что их авторам представляется хорошо продающимся на рынке научных грантов.

2

В ответе на этот вопрос свое слово должны сказать социологи науки. Суждения «на глазок» здесь едва ли справедливы, поскольку в разных научных сообществах и разных институтах смена поколений протекает по-разному. Да и научная продукция, выходящая из-под пера «молодого» и, эвфемистически говоря, «зрелого» ученого, разнится не только тематически. Здесь важны и методологические и даже стилистические склонности: история любой гуманитарной науки, в том числе и отечественной, полна примерами взаимосвязанности экспертных и ценностных, риторически окрашенных суждений — не только того, *что* говорится, но и того, *как*. Звучавшее когда-то революционно, а сегодня ставшее расхожим суждение о том, что гуманитарная и историческая наука — это, помимо прочего, еще и *écriture* — т.е. тоже своего рода литература — является, на мой взгляд, справедливым и эвристически плодотворным.

Применительно к поколенческой смене научных интересов здесь можно было бы, пожалуй, порассуждать и о том, о чем привычнее писать молодым и старым: первые охотнее пишут манифесты, а вторые — мемуары.

3 И те, и другие отношения изменились. Дискуссии вокруг реорганизации Российской академии наук достаточно показывают механизмы и мотивы, призванные трансформировать ученое сообщество в менеджмент-группу, реализующую интересы госчиновников, выступающих от имени государства, общества, «общественной пользы» и т.д. От того, в какой степени реальные, а не воображаемые сообщества поддаются властным приемам демагогического (само)убеждения на тему эффективности / неэффективности научных институций, во многом зависит и будущее антропологических дисциплин. Некоторая успешность последних в сфере научного фандрайзинга демонстрирует, что трансформация их проблемного поля в какой-то степени уже определяется их легитимацией в структуре «проектного мышления» грантодателей. Процесс «огосударствливания» науки утрирует эту ситуацию *non plus ultra*. Можно предположить, что смещение дисциплинарных границ научного знания в этом (худшем для российской науки) случае будет определяться не эпистемологическими закономерностями исследовательской и образовательной практики, а валоризацией предъявляемого «научного продукта».

4 Определенность антропологических дисциплин проблемна и условна. Давний тезис Дэвидсона о неполноте концептуальных схем в науке подтверждается в этом случае с особенной наглядностью. История — общество — культура — человек: все это понятия, превращение которых в операциональные маркеры, используемые для саморепрезентации той или иной «научной школы», легко оборачивается очередным идеологическим проектом. Мне интереснее работы отдельных исследователей. Другое дело, что можно говорить и о степени «масштабируемости» тех научных направлений, в русле которых такие работы пишутся. Но здесь я позволю себе быть тривиальным, предпочитая те из них, которые опираются на правила проверяемости и опровергаемости исследовательских данных и субъективную актуальность тех вопросов, которые мы задаем себе и другим.

КАТРИОНА КЕЛЛИ

**История нашего острова: о возврате
“grand narratives” в (около)научную жизнь**

Размышляя о десятилетии, прошедшем с тех пор, как мы выпустили первый номер «Антропологического форума» (сейчас кажется, что это было в другом мире), я обратилась к своим собственным комментариям в том выпуске 2004 г. Тогда я сначала упомянула об «уходе от доминирующих интерпретационных парадигм или *grand narratives*», а потом, детализируя это обобщение, заговорила о сложившейся «постиндустриальной объяснительной схеме, в рамках которой ранее существовавший интерес к трудовым отношениям и производству сместился в сторону потребления и досуга — явлений, до того считавшихся вторичными». Я заметила, что во многих публикациях по культурной теории и практике 1990-х и начала 2000-х гг. «во главу угла ставились потребление и действие (*performance*)» без особого учета социально-экономических условий.

Мне кажется, за прошедшие годы в исследованиях «потребления и действия (*performance*)», по крайней мере в постсоциалистическом мире, значительно убавилось пафоса первопроходцев и прибавилось рефлексии. В некоторых хороших работах (например, [Patico 2008; Shevchenko 2009; Vonderau 2010]) подчеркивается, что потребление может быть областью сопротивления доминирующим социальным тенденциям, а его множественные значения находятся под воздействием как образов кризиса, так и представлений о процветании. В то же время мне бы не хотелось окончательно расставаться с ощущением постсоветских 1990-х гг. как некоего свободного пространства игры: за характерным для поздних 2000-х гг. представлением об этом периоде как о времени нестабильности и постоянной экзистенциальной тревоги

Катриона Келли (Catriona Kelly)
Оксфордский университет,
Великобритания
catriona.kelly@new.ox.ac.uk

(*Angst*) стоит своя идеология, которая игнорирует, в частности, степень тревожности из-за роста цен во втором и третьем десятилетиях существования постсоветского российского государства.

Но более примечательной особенностью 2000-х гг. мне кажется несомненное возвращение того «большого нарратива», о котором я лишь вскользь упомянула в 2004 г., — нарратива национального превосходства. Конечно, некоторые участники нашей дискуссии, например Константин Богданов, говорили о нем уже тогда, но скорее как об упрямом пережитке прошлого, чем как о чем-то, что настолько явно заявляет о своем присутствии, что его невозможно игнорировать. На тот момент разглагольствования А.А. Горелова о профилактическом эффекте фольклора перед лицом институционального коллапса («в час разлома государственности») казались всего лишь иллюстрацией того обстоятельства, что «хрестоматийные тексты фольклора и сегодня полагают твердыней национальной духовности и спасительным средством против социальных невзгод» [Богданов 2004: 32–33]. Помню, когда в 2005 г. я впервые составила заявку на грант о национальной идентичности в России и отправила ее в одну из главных британских грантодающих организаций, отзывы были скептическими, если не уничтожающими: разве можно оправдать такие большие затраты на исследование столь маргинальной темы? Годом позже эксперты другого грантодателя, Исследовательского совета по искусству и гуманитарным наукам (the Arts and Humanities Research Council), заняли совершенно противоположную позицию и горячо одобрили проект. Думаю, эта перемена отражает не только непредсказуемость предпочтений грантодателей, но и растущее осознание, что идеологическая линия российского правительства начала меняться.

В ходе реализации проект становился все более злободневным — и не всегда так, как это пришлось бы по душе его участникам. Только мы начали работу, как в Институт истории Академии наук пришла инструкция, где «национальная идентичность» значилась среди тем, рекомендованных к исследованию¹. Поощрять исследование темы, обретающей все большую важность на политической арене, вполне разумно со стороны академического чиновника. Значительно больше беспокоит поощрение довольно специфического рода анализа — возросшее ожидание, что высказывания по поводу прошлого и настоящего России должны служить «патриотическим» целям.

¹ Этот документ попался мне на глаза осенью 2007 г.

Такое течение событий характерно не только для России. Британский министр образования Майкл Гоув недавно воспользовался приближающейся годовщиной начала Первой мировой войны, чтобы представить крайне тенденциозный взгляд на то, как следует понимать историю. Конфликт 1914—1918 гг., заявил он, был «справедливой войной». «Беспощадный социальный дарвинизм немецких элит, их безжалостность в оккупации, агрессивно-экспансионистские цели их войны и презрение к международному законодательству — все это более чем оправдывало сопротивление». Но эту глубокую мысль, утверждает он, необходимо очистить от тумана искажений. «Наше представление об этой войне находится под влиянием недопонимания и неверных толкований, которые в лучшем случае отражают двусмысленное отношение к нашей стране, а в худшем — прискорбное побуждение отдельных лиц опорочить такие добродетели, как патриотизм, честь и мужество». Источниками этих «недопониманий» и «искажений», считает Гоув, являются не только популярные телевизионные шоу, как, например, ситком «Блекэддер» (“Blackadder”), но и дезинформация, распространяемая некоторыми «историками левых убеждений» (главным среди них он назвал профессора Ричарда Эванса из Кембриджского университета). Гоув и признает, что «не существует единого общепризнанного мнения», но основной посыл его статьи в том, что те, кто сомневается, что Первая мировая война — это патриотическая история самопожертвования и торжества, не просто пребывают во власти заблуждений, но еще и циничны и непатриотичны¹. Трудно припомнить эпизод из недавнего прошлого, когда бы министр запустил настолько грубую идеологическую кампанию или предпринял столь целенаправленную (с названием имен) атаку на профессиональных историков.

Из текста Гоува очевидно, что эта цензура высказываний о Первой мировой войне была предложена сразу же после масштабной реформы английской школьной программы [National Curriculum 2013]. По его хвастливому заявлению, «ведущие ученые приветствуют изменения, которые мы внесли в программу по истории, так как теперь все дети смогут получить надлежащее полное понимание прошлого нашей страны и ее места в мире». На самом деле «изменения» призваны возродить вариацию того, что раньше называли «Историей нашего

¹ Полный текст статьи с одобрительным предисловием Тима Шипмана, который радуется, что Гоув подрывает «левые мифы», см.: [Gove 2014]. Текст спровоцировал обширные дискуссии в британской прессе и интернете. Отрывок из сериала «Блекэддер», где капитан Блекэддер демонстрирует характерную небрежность по отношению к высшей власти, см.: <<http://www.youtube.com/watch?v=IDQ1jlnSjU>>.

острова»¹ (“Our Island Story”) (большая часть рекомендуемой, а то и обязательной, литературы посвящена национальным героям, например, «британскому сопротивлению» римским завоевателям под предводительством «Боудикки»)². Это новое утверждение национальных ценностей происходит в тот самый момент, когда члены научного сообщества вынуждены демонстрировать значимость своей работы для правительства — совпадение, которое может подвинуть на тревожные размышления о состоянии академической автономии³. В своей статье, написанной в защиту школьных реформ, историк Нил Фергюсон, занимавшийся консультированием новой школьной программы, вступил в настоящую перепалку. Окредив оппонентов реформы «тяжелой артиллерией из Оксбриджа» (на «позорной доске» Фергюсона вместе с Ричардом Эвансом оказался специалист по советской истории из Оксфорда Дэвид Пристленд), он высмеял их возражения за отсутствие связи с реальностью:

Никак не могу понять, почему же эти профессора чувствуют обязанность защищать статус-кво, который столь многие учителя, родители и ученики считают недостойным защиты. Что это, простое невежество? Или фанатичный предрассудок?

¹ Речь идет о популярной детской книге по истории Г.Э. Маршалл “Our Island Story: A Child’s History of England”, изданной впервые в 1905 г., название которой стало крылатым выражением [Прим. пер.].

² Когда мне было лет восемь или девять, пожилая матушка друга нашей семьи (думаю, она родилась в 1890-е гг.) подарила мне книгу по истории Британии, которую она сама читала в детстве и которая была опубликована, если мне не изменяет память, в 1890-е. Боудикку тогда называли «Боадидея», но ее активная роль в истории сопротивления была все той же, а книгу иллюстрировали странные, несколько пикантного свойства гравюры, которые изображали, как римляне секут розгами ее и ее дочерей, обнаженных по пояс. В подобных противоречиях и увязает всякий морализаторский нарратив (и видимо, это к лучшему, о чем я скажу ниже).

³ Высказывания британских министров образования, которые использовали, казалось бы, нейтральные слова, например «эффективность», и раньше нередко имели политическую подоплеку, поскольку показателем уровня признания интеллектуала считалось количество публикаций и т.п. Маргарет Тэтчер была известна своими унижительными замечаниями о «роскоши» исследований, которые не имеют практического применения (например, история средневековья). Но в целом министры воздерживались от комментариев относительно надлежащей тематики исследований, не говоря уже об интерпретациях. В последние годы указания, какие темы имеют первостепенную важность, становятся все настойчивее (самый очевидный пример: целевое финансирование областей естественных наук, техники, инженерного дела, математики (STEM — Science, Technology, Engineering, Mathematics). В 2011 г. разразился скандал, после того как глава исполнительной комиссии Исследовательского совета по искусству и гуманитарным наукам, главного органа государственного финансирования в гуманитарной сфере, объявил, что запланировано специальное финансирование исследований «большого общества» (“big society”) — модное словечко, пущенное Дэвидом Камероном и Консервативной партией [Malik 2011]. В 2014 г. национальный аудит исследовательской продуктивности (который теперь называется Система оценки исследовательского мастерства — Research Excellence Framework) впервые включил оценку «вклада» (impact), или практического и социального эффекта исследовательской «продукции», в том числе работы с людьми во власти и т.п. (выражаясь словами Совета по финансированию высшего образования, «широкой пользы для общества и экономики») <<https://www.hefce.ac.uk/news/newsarchive/2011/news62310.html>>.

Не могут же они искренне полагать, что приемлемо, чтобы дети (как, например, все мои дети) заканчивали школу, не зная абсолютно ничего о Норманнском завоевании, английской гражданской войне или Славной революции, зато много (или хотя бы кое-что) — о Третьем рейхе, «Новом курсе» и движении за гражданские права?» [Ferguson 2013].

Свой собственный экспертный статус в дискуссии на эту тему Фергюсон обосновал так: «Я знаю, потому что я наблюдал, как трое моих детей прошли через английскую школьную систему, потому что я регулярно посещаю школы и разговариваю с учителями истории и потому что (в отличие от Эванса и Пристленда, авторов довольно сухих трудов по истории, соответственно, нацистской Германии и советской России) я представляю в своих книгах и телепередачах популярную, общедоступную историю» [Ferguson 2013]. «Сухие» усилия академических историков не могут сравниться с экспертным знанием тех, кто «представляет в своих книгах и телепередачах популярную, общедоступную историю», растит детей и ходит по школам, хотя вопрос о том, каким образом все это может дать особые познания в детской психологии и эффективной педагогике, может вызвать серьезное недоумение.

Едва ли нужно говорить о том, что явное стремление приручить прошлое, чтобы его можно было использовать для достижения сиюминутных политических целей, таких как внушение детям патриотизма, в последние годы весьма характерно и для российского правительства (дискуссия, которая помещает эту тенденцию в международный контекст: [MacMillan 2009]; общий набросок ее отношений с советской исторической мыслью: [Копосов 2011])¹. Многие основополагающие положения этой доктрины изложены в недавней статье Николая Дорощеева, опубликованной в безукоризненно ортодоксальном издании «Российская Федерация сегодня». Дорощеев начинает с утверждения, что советские определения исторической науки, если их должным образом подправить, годятся и сегодня:

¹ Особенно спорной представляется монография Александра Филиппова «Новейшая история России 1945–2006», в которой подчеркивается значение политического насилия для целей государственной централизации и создания нового правящего класса: «Современные исследователи склонны видеть рациональные причины использования насилия в стремлении обеспечить предельную эффективность правящего слоя в качестве субъекта мобилизации общества на достижение невыполнимых задач. Сталин следовал логике Петра I: требуй от исполнителя невозможного, чтобы получить максимум возможного» [Филиппов 2007: Глава 1]. Автор игнорирует тех современных исследователей, которые говорят о разнообразии политического насилия и включают в эту категорию и подавление предположительно опасных национальных меньшинств и других «маргиналов общества», и истребление потенциальных политических оппонентов. Уместность слова «рациональный» тоже, мягко говоря, сомнительна.

*Так что же такое история и почему так опасны попытки ее фальсификации? Есть много разных определений истории. Приведем одно из Большой советской энциклопедии, опустив лишь цитаты классиков марксизма-ленинизма: «История (от греческого *historia* — рассказ о прошлых событиях, повествование о том, что узнано, исследовано). 1) Всякий процесс развития в природе и обществе <...> 2) Наука, изучающая прошлое человеческого общества во всей его конкретности и многообразии, которое познается с целью понимания его настоящего и перспектив в будущем». Вот другое определение, из того же советского времени, но только более публицистичное: «История — это наука, делающая человека гражданином». Убежден: и первое, и второе определения настолько выверены и правильны по своей сути, что вполне могут быть использованы и сегодня [Дорофеев 2013].*

Идея, что можно просто взять и подвергнуть старое определение вторичной переработке, «опустив лишь цитаты классиков марксизма-ленинизма», напоминает высказанное в январе 2014 г. предложение В.В. Путина переписать школьные учебники, выкинув «идеологический мусор»¹. Как будто интерпретации и факты можно с легкостью отделить друг от друга. И Дорофеев продолжает обосновывать эту идею. Главная проблема истории — это «какие исторические факты брать и по какому случаю, как их интерпретировать и излагать». И далее:

В этом смысле история — материя беззащитная, в отличие от точных наук — физики, химии или математики, где не допускаются интерпретации формул, а ошибки в расчетах приводят всего лишь к неверному результату, что поправимо. С историей все гораздо сложнее, если принимать во внимание тот факт, что ее задача — делать из человека гражданина [Дорофеев 2013].

Гоув, со своей стороны, не использует слово «факт»: вместо этого он бесконечно занудствует на темы интерпретаций. «Надлежащая историческая дискуссия»; «изложил этическую проблему»; «надлежащее исследование»; «увиденный в новом свете». Но идея за всем этим стоит та же самая. Исторические события, подобно персонажам романа реализма, просто ждут, пока авторский гений (и это, конечно, он, а не она) возьмется за перо и их изобразит: «Даже битва при Сомме, которую когда-то считали воплощением бессмысленности войны, недавно была глубоко проанализирована военным историком Уильямом Филпоттом и теперь рассматривается как предвестник

¹ «Я сейчас не говорю о сознательном принижении роли советского народа в борьбе с фашизмом, там более глубокие даже вещи. Просто какой-то идеологический мусор. Вот от этого нам нужно избавиться» <<http://itar-tass.com/obschestvo/891155>>.

победы союзников» [Gove 2014]. В нормативном английском «битва» не может быть «предвестником» (*precursor*), это слово употребляется только по отношению к людям. Для Дорофеева историческая правда тоже антропоморфизирована: в своей «беззащитности» она напоминает невинную девушку, над которой норовит совершить насилие любой случившийся поблизости историк с недобрыми намерениями. Можно даже сказать, что это юная версия самой Руси-матушки.

Факты, правда и патриотизм выстраиваются в стройную линию. «История и такие понятия, как гражданственность и патриотизм, неразрывно между собой связаны, вряд ли могут вызывать сомнения» [Дорофеев 2013]¹. То обстоятельство, что *гражданственность* и *патриотизм* в принципе могут и вступать в конфликт, исключается из поля зрения, так же как и вопрос о том, что делать с «фактами», которые могут оказаться неудобными для одного из этих агентов или для них обоих (вспоминается советское выражение «возмутительные факты»). Точно так же и для Майкла Гоува не составляет никакой проблемы «надлежащее» восприятие прошлого, которое, по его мнению, тоже зависит от должной патриотической интерпретации.

В Англии юный историк, образ которого складывается из обновленной школьной программы, вовлекается во что-то, больше напоминающее профессиональную научную практику в ее обычном понимании: предполагается, что школьники будут «понимать такие исторические понятия, как преемственность и изменения, причина и следствие, сходство, различие и значительность», и «понимать, как при помощи тщательной работы с доказательствами выдвигаются предположения в области истории» [National Curriculum 2013]. Можно, однако, усомниться, что знание о том, как работать «тщательно», так уж поможет им в мире, где «доказательства» могут быть ненадежными и противоречивыми, так что любые основанные на них предположения будут проблематичны. Вопрос о том, как такое отсеивание доказательств может соединиться с морализаторским пафосом программы (которая должна, например, познать детей с «достижениями и ошибками человечества» [National Curriculum 2013]), не ставится.

В общем, между этими двумя взглядами на историческую практику и образование нет особых различий, вероятно, как и между стратегиями «реальной политики», которые их вдохновили. В обоих случаях политическая группа интересов, находясь под давлением значительно более агрессивных версий национализма, стремится предложить в качестве «разумной» и «обще-

¹ Наверное, «вряд ли это может вызывать сомнения». Но ошибка показательна.

принятой» альтернативы собственную версию «национальной истории»¹. Конечно, в современной России триумфалистский исторический нарратив имеет больше шансов на сколько-нибудь продолжительное воздействие, если учесть значительно более прочную традицию обязательной школьной программы, а также тот факт, что министры традиционно обладают меньшим влиянием, чем президенты². И все же в некоторых отношениях в России подобные дискуссии отличаются несколько более широкими взглядами, чем те, которые ведутся в Англии. В.В. Путин говорит о необходимости обсудить с «европейскими» коллегами их опыт «работы памяти» (в Англии ничего подобного определенно не происходит)³. Кроме того, российские дискуссии, несомненно, демонстрируют понимание проблем насаждения «национальных» ценностей в обществе, где больше одной национальности. Дорофеев признает, что предполагаемого историка-патриота ждут серьезные интеллектуальные задачи:

Им придется объяснять очень многие события, произошедшие в российской истории, так, как потребовал недавно в ходе заседания Совета при Президенте по межнациональным отношениям Президент Владимир Путин: без внутренних противоречий и двойных толкований. Авторам этих книг придется поломать голову над тем, например, как объяснить активно муссирующийся сейчас вопрос: было или не было пресловутое татаро-монгольское иго или как оценивать действия Ивана Грозного, уничтожившего Казанское и Астраханское ханства и пытавшегося прорубить «окно в Европу» в Прибалтике задолго до Петра I. Как разьяснят действия и методы этого первого российского императора. Как эти авторы станут излагать историю Кавказской войны, только официально длившейся с 1817-го по 1864 год, а на самом деле дольше. Им необходимо будет найти объяснение тому,

¹ Для российского контекста см. интересную дискуссию в [Соколов 2008], где обсуждается снижение политического капитала крайнего национализма, когда после 2000 г. это движение распалось на мелкие группы и одновременно произошло утверждение национализма как ключевой составляющей политики, провозглашаемой правящей партией «Единая Россия» («самым глубоким и важным был процесс постепенного обособления “государственности” — разновидности правой идеологии, которая в данный момент доминирует в России» [Соколов 2008: 190]). В Великобритании наиболее мощное давление исходит от антиевропейских объединений, таких как «Партия независимости Соединенного королевства». В обеих странах, впрочем, ключевую роль явно играют и глубокие личные убеждения членов правящей элиты (Путин с одной стороны и Гоув с другой).

² При том что о Майкле Гоув нередко поговаривают как о вероятном премьер-министре и на этой позиции его идеологический вес стал бы значительно более ощутим, даже тогда он бы оказался вовлечен в более плотную систему сдержек и противовесов, чем президент России. Что до обязательной школьной программы, в России она существует издавна (за исключением периода 1917–1927 гг.), в то время как в Соединенном Королевстве так называемая «национальная школьная программа» была введена в 1988 г.

³ См.: [Путин предложил]. В то же время на практике британские профессиональные общества, такие как «Историческая ассоциация», принимают участие в сети “Euroclio”, которая среди прочего пытается стимулировать различные совместные инициативы, например немецко-французские учебники истории, и в целом непредвзятый подход к преподаванию истории. См.: <www.euroclio.eu>.

почему в коренной России генерал Ермолов — герой, а на Кавказе его именем пугают детей. И еще найти какой-то компромисс в объяснении исторических дат. Почему, в частности, 23 февраля — календарный праздник для всей России, а для Чечни и Ингушетии — День скорби и память о депортации этих двух народов [Дорофеев 2013].

Эта дилемма — как объяснить ситуацию, когда существуют две явно противоположные точки зрения, и в то же время избежать *двойных толкований* — представляет собой главную брешь российского официального идеологического нарратива и сулит некоторую надежду. Нил Фергюсон, со своей стороны, предпочитает игнорировать тот факт, что в некоторых частях Британии, особенно в Северной Ирландии, «Славная революция» — это ровно такое же спорное событие, как и Кавказская война 1817–1864¹. Школьная программа с ее списком не обязательных, но рекомендуемых личностей, взятых почти исключительно из английской истории (кроме пары знаковых «мультикультурных» персонажей, таких как карибская медсестра Мэри Сикол), тоже избегает этой проблемы.

Что касается детей, которые окажутся под воздействием этих гладких, исполненных патриотических устремлений программ, наверное, можно успокоиться, припомнив печально знаменитое свойство школьников усваивать точку зрения, в точности противоположную той, что вписывают в них в классе. Эти программы совершенно не учитывают ни реальный состав школьных классов, ни их внутреннюю динамику, внимание к которым чувствуется, например, в замечательном отчете «Преподавание эмоциональной и спорной истории», опубликованном «Исторической ассоциацией» [Teaching 2007]². Так что в реальности они, скорее всего, будут иметь лишь ограниченное влияние. (Интересно также, что никто пока еще не предложил реформировать программу по литературе в английских школах, вероятно, потому что найти достаточно уважаемых патриотических авторов само по себе стало бы задачей не из легких³.)

¹ «Славная революция», которая началась с битвы на реке Бойн, в Северной Ирландии регулярно отмечается шествиями протестантов и столь же регулярными вспышками насилия, когда их участники увлекаются своим историческим «правом» маршировать через католические земли.

² Например, в этом отчете поднят вопрос, как рассказывать о Холокосте в классе, где 75 % детей — мусульмане, а в местной мечети идет пропаганда, которая преподносит Холокост как «ложь». Правая ксенофобская газета «Дэйли мэйл» подхватила этот сюжет и превратила его в историю о том, что отдельные учителя умалчивают о Холокосте по цензурным соображениям [Teachers Drop 2007]. Затем это «вирусом» разошлось по интернет-сетям, и я сама впервые узнала об этой истории, когда русские друзья написали мне с вопросом, может ли такое быть правдой. О преподавании в школах см. также: [Phillips].

³ Большинство значительных авторов английского литературного канона даже при самом оптимистичном восприятии можно назвать в лучшем случае сомневающимися патриотами.

Более серьезные проблемы ожидают сотрудников системы высшего образования, если учесть, что прямое финансирование университетов постепенно заменяется целевым финансированием на конкурсной основе для тех, чья исследовательская деятельность оценивается как «блестящая». Несмотря на несомолкающие уверения, что оценкой занимаются и будут заниматься эксперты (*peer review*), применение таких категорий, как «стратегическая значимость», звучит угрожающе в условиях, когда правительства начинают формулировать свои стратегии на языке идеологии. Наступление на академическую автономию в интересах политической целесообразности становится реальной перспективой (чтобы обосновать государственное финансирование, грантодающие организации могут подчеркивать в своих отчетных документах, что их поддержку получает репрезентативный процент исследований в «ключевых областях», таких как национальные победы, биографии «героев» и проч.).

Это не значит, что обязательно наступит интеллектуальный застой. Конец XIX в. в России, период мощного политического давления на университеты, был еще и временем, когда у преподавательского состава, несмотря на и даже благодаря стороннему вмешательству, сложилось сильное чувство профессиональной независимости [Byford 2007]. Общеизвестно, что внешняя угроза может стать отличным стимулом для формирования корпоративной идентичности. Но конец XIX и начало XX в. были также эпохой укрепления позитивизма и власти факта. Защита академических ценностей едва ли получит поддержку общественности, если будет прославлять добродетели неоднозначности. Официальная политика нетерпимости к разнообразию объяснений, конечно, не приведет к всеобщему согласию, учитывая всю сложность обществ, в которых мы живем. Но такая политика вполне может изменить научное сообщество, да так, что беспечная дискуссия 2004 г. потеряет всякую актуальность — не только потому, что теперь мы принимаем как должное нашу способность создавать какие угодно собственные нарративы, как и предполагается в списке вопросов, но и потому, что «реальная политика» (*Realpolitik*) вынуждает нас вооружаться нарративами, которые прямо отвергают «стратегические приоритеты», обозначенные правительством¹.

¹ Ср. [Рое 2012] о необходимости найти альтернативу в виде онлайн-комментариев ученых. Я ссылаюсь на Поу в качестве историка открыто ангажированного, хотя линия его несколько другая. Мне его доводы оказались близки, но некоторые историографические дебаты слишком сложны, чтобы их можно было так легко представить в понятной интернет-аудитории неспециалистов форме. Было бы жаль, если бы альтернатива «наряду с» превратилось в «вместо».

Библиография

- Богданов К.* Ответы на вопросы форума «Современные тенденции в антропологических исследованиях» // Антропологический форум. 2004. № 1. С. 31–33.
- Дорофеев Н.* В поисках исторической правды // Российская Федерация сегодня. 2013. № 5. С. 6–9. <<http://www.russia-today.ru/article.php?i=149>>.
- Копосов Н.* Память строгого режима. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
- Путин предложил синхронизировать курс истории РФ с преподаванием истории зарубежных стран. 2014, 16 янв. <<http://itar-tass.com/obschestvo/891220>>.
- Соколов М.* Конец русского радикального национализма? // Антропологический форум. 2008. № 8. С. 183–198.
- Филлипов А.* Новейшая история России. 1945–2006. М.: Просвещение, 2007. <<http://www.prosv.ru/umk/istoriya/index.html>>.
- Byford A.* Literary Scholarship in Late Nineteenth-Century Russia: Rituals of Academic Institutionalization. Oxford: Legenda, 2007.
- Ferguson N.* On the Teaching of History, Michael Gove is Right // The Guardian. 2013, 13 Feb. <<http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/feb/15/history-teaching-curriculum-gove-right>>.
- Gove M.* Why Does the Left Insist on Belittling True British Heroes? // Daily Mail. 2014, 2 Jan. <<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2532923/Michael-Gove-blasts-Blackadder-myths-First-World-War-spread-television-sit-coms-left-wing-academics.html#ixzz2qaWmNLXD>>.
- Malik S.* Labour Steps into Row over “Big Society” Research // The Guardian. 2011, 20 June. <<http://www.theguardian.com/education/2011/jun/20/labour-steps-into-big-society-row>>.
- National Curriculum in England: History Programmes of Study. Statutory Guidance. Department for Education. 2013, 11 September. <<https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-history-programmes-of-study/national-curriculum-in-england-history-programmes-of-study>>.
- MacMillan M.* The Uses and Abuses of History. L.: Profile Books, 2009.
- Patico J.* Consumption and Social Change in a Post-Soviet Middle Class. Washington, DC; Stanford, CA: Woodrow Wilson Center Press; Stanford University Press, 2008.
- Phillips I.* The British and the First World War: It’s Personal. <<http://www.euroclio.eu/new/index.php/england-hten-full-members-495/3862-ian-phillips-the-british-and-the-first-world-war-its-personal>>.
- Poe M.* Getting the Word Out 2.0 // ASEES News Net. 2012, October. P. 7–8. <<http://aseees.org/newsnet/2012-10.pdf>>.
- Shevchenko O.* Crisis and the Everyday in Postsocialist Moscow. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2009.

Teachers Drop the Holocaust to Avoid Offending Muslims // Daily Mail online. 2007, [not dated]. <<http://www.dailymail.co.uk/news/article-445979/Teachers-drop-Holocaust-avoid-offending-Muslims.html>>.

Teaching Emotive and Controversial History. Report. March 2007. Historical Association / The Department for Education, UK. <<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/https://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationdetail/page1/rw100>>.

Vonderau A. Leben im “neuen Europa“: Konsum, Lebensstil und Körpertechniken im Postsozialismus. Bielefeld: Transcript, 2010.

Пер. с англ. Александры Касаткиной

ЖАННА КОРМИНА

Ни Богу свечка, ни черту кочерга (некоторые размышления об антропологии религии в России)

У той узкой области гуманитарного знания — антропологии религии, — которой занимаюсь я, несчастливая судьба, повторяющаяся, впрочем, судьбу как самого предмета исследования (религии, а точнее религий), так и дисциплины (антропологии). Постсоветская «свобода от всего» начала девяностых годов, когда духовные поиски позднесоветского времени смогли институализироваться в форме совсем новых аутентичных, не совсем новых завозных, а также совсем не новых религиозных движений и групп, довольно быстро сменилась концепцией свободы как осознанной необходимости. Пережившим времена неопределенности и лишений бывшим советским людям естественным образом хотелось нормальной буржуазной сытости и ясности ценностных ориентиров. Хотелось, чтобы будущее, а также и прошлое, стало наконец определенным и позитивным.

Жанна Владимировна Кормина
Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Санкт-Петербург
kormina@eu.spb.ru

Результатом этой консервативной революции стало именно то, от чего общество совсем недавно бежало, — недоверие к разнообразию. А определенность приняла вид ориентации на два как будто полярных

идеала: воображаемый западный стандарт во всем, что касается жизни тела и вообще отдельной личности, и не менее воображаемый национальный — в том, что касается публичной социальной жизни. В этих условиях острой потребности в культурных символах, которые бы сплачивали нацию, православный бум был совершенно естествен. А ведь в первой половине девяностых такая перспектива выглядела очень сомнительной: православие было религией меньшинства, не особенно заметной в пестром разнообразии предложений на открывшихся внезапно религиозных рынках.

Из этого перекрестного взаимного опыления неолиберальных идей и консерватизма выстроились религиозные потребности (если такие бывают) среднестатистического современного россиянина: нью-эйджера внутри и православного снаружи. В результате всех этих процессов вокруг религии сформировалась общая атмосфера раздражения: людей категорически секулярных (в основном, старшего поколения) раздражает навязчивое доминирование православия в публичной сфере и дискурс религиозного национализма, людей верующих задевает, что к церкви прислоняются всякие невежды, объявляющие о своей православности по праву рождения, а массовых православных сердит, что предоставляемый им продукт и услуги оказываются не надлежащего качества: для них религия отвечает прежде всего за этику и мораль, доминирующий религиозный институт должен быть совестью нации, а совесть эта должна быть чистой. Чистой от экономики и связанных с нею страстей.

Социальное раздражение, наверное, не лучший стимул для академической работы, и в этом — одна из причин нежелания заниматься исследованиями современной религиозности, особенно религиозности доминирующего типа. Существенного роста количества работ в этой сфере не происходит, и, главное, его не наблюдается в той области исследований религии, которую принято называть антропологией религии — предполагающей длительный контакт с изучаемой группой, навыки саморефлексии, занимающее много времени включенное наблюдение. Антропология — это медленное знание, а нынешний заказчик требует ответов быстрых и четких. И лучше всего — чтобы было анкетирование, массовые опросы, таблицы и графики, которые выглядели бы научно презентабельно.

Другая крайность — работы политологического характера, где говорится в основном о публичном дискурсе о религии. Конечно, все это совсем не бессмысленно и даже полезно, не будь такого провала в области антропологии религии — медленно, повторюсь, знания. Чтобы его получить, нужно следовать простым, но не таким удобным правилам: спокойно-добро-

желательное отношение к информантам, академический, а не только личный интерес к полю и еще время, чтобы подумать, расшифровать интервью, в который раз пересмотреть полевые дневники и фотографии. Ничего нового, обычная антропология, но она-то в области исследования религии оказывается, мягко говоря, не самой востребованной методологической системой получения нового знания.

Нужно заметить, что дела с изучением вопросов религиозности в историческом ключе, в частности в советское время, обстоят куда лучше — во всяком случае, в количественном отношении (см. подробнее: [Митрохин 2012]). Некоторые из этих публикаций содержат антропологический «поворот», как это иногда принято называть, и читать их антропологу интересно и полезно. Такого рода исследования можно встретить, например, в двух российских академических журналах, посвященных исследованиям религии: в недавно обновленном «Государство, религия, церковь в России и за рубежом» и изредка — в журнале «Религиоведение», а также в исторических и интеллектуальных изданиях, на религии не специализирующихся.

Особенность нынешней ситуации усугубляется тем, что по сравнению со временем десятилетней давности у социальных наук поменялся основной заказчик. Тогда музыку заказывали западные фонды, служившие не только сохранению (за счет финансовой поддержки в науке тех, кто иначе, возможно, ушел бы из нее), но и просвещению, а также включению социальных и гуманитарных исследователей в мировую (т.е. прежде всего англоязычную) науку. Именно через грантовые конкурсы фондов, хотя, конечно, не только так, транслировалось тогда «западное» академическое знание. Через фонды Сороса, Мак-Артуров или Форда здесь узнавали, что там «носят», какие ставятся исследовательские вопросы, какие проблемы изучаются, какими методами. Конечно, не все было прекрасно, не всякое ведь платье к лицу и по фигуре, но фонды в самом деле позволяли увидеть, чем «мы» отличается от «них», и давали пропуск для участия в мировой науке, если такая существует.

Тут стоит оговориться, чтобы быть честными: и в эти либеральные времена, когда получение грантов было основано все-таки на конкурсной основе, определенно существовала асимметрия, своего рода нечестность по отношению к тем, кто жил не в мегаполисах, а в небольших региональных центрах, где были ограничения в доступе к информации такого рода. Интернет стал общедоступным лишь недавно, когда фонды уже стали уходить из России.

Некоторое время назад все это закончилось — отчасти потому что фонды выполнили свои планы, перестав инвестировать

в развитие науки в новых независимых государствах, поскольку те перестали быть новыми, а отчасти по инициативе этих самых государств, движимых идеями нового национализма. Теперь у науки, кроме государства, появляются новые кормильцы — бизнес, и как работает такой эксперимент, видно на примере Европейского университета в Санкт-Петербурге, открывающего именные профессуры и аспирантские места на деньги бизнеса. Вообще идея эта, конечно, не новая, и Бронислав Малиновский, собственно, сделал себе имя и превратил антропологию в полевую науку, поскольку сумел убедить бизнес в том, что нужно давать стипендии участникам его полевого семинара в Лондонской школе экономики на их длительные полевые исследования. В моем академическом поле мне пока известен только один пример прямого участия бизнеса в поддержке исследований — московская независимая социологическая служба «Среда», которая занимается пока скорее просветительской деятельностью, чем научной, но делает это совсем неплохо.

Однако, конечно, основным заказчиком академического знания является не бизнес, а общество, и содержание этого заказа доходит до меня обычно в виде тем курсовых и дипломных работ, выбираемых студентами, и нечастых приглашений в качестве эксперта, поступающих из средств массовой информации. И тут любопытно вот что: СМИ хотят, чтобы комментировали православие, без критики и аналитики, чтобы зритель видел узнаваемую милую картинку и было бы ему приятно смотреть и слушать; а вот студенты готовы писать о чем угодно, кроме этого самого православия. За все время работы со студентами в моем университете я помню только одну работу, сделанную на собственном полевом материале и посвященную православия. В ней шла речь о практиках катехизации молодежи в петербургском Князь-Владимирском соборе — необычном ярком проекте с — не моими словами сказано — «протестантским душком», осуждаемым многими в РПЦ. Обычно же студенты пишут об экзотическом (что, учитывая антропологический уклон их работ, наверное, и понятно) и вместе с тем более им близком или же симпатичном — чаще всего о разнообразных группах Нью Эйдж, от виккан до рериховцев.

Исследовательская работа, во всяком случае в социальных науках, всегда диалогична: мы пишем, имея перед собой определенный образ нашего визави — читателя, оппонента, эксперта. От того, как мы себе его представляем, зависят и тексты, которые мы пишем или произносим, и выбор материала, аналитических моделей, риторика и, наконец, язык, упрощенный или же эзотерический. Так сложилось, что мне не довелось работать в кругу близких коллег — такой круг у меня, к счастью,

есть, но значительную часть своего рабочего времени я провожу в более широком кругу коллег — не антропологов и не специалистов по религии. Неоднократно мне приходилось сталкиваться с предубежденным отношением к исследованию религии: кому-то все верующие видятся лицемерами, кто-то считает этот объект слишком маргинальным, а кто-то считает, что не существует методов для адекватного изучения религиозной жизни.

Ну как тут не вспомнить Дюркгейма с его четким делением — многими потом оспоренным как неубедительное — мира на сакральное и профанное. Иногда мне кажется, что часть коллег, изучением религиозных практик не занимающихся, почти инстинктивно помещают религиозное в область сакрального и тем самым закрывают его для исследования методами профанной науки. Если это самое поле религиозного находится на историческом или географическом расстоянии, тогда у науки есть шанс, а вот ежели здесь и сейчас, тогда это лучше не трогать. Подобное критическое отношение к предмету религии и методологии (этнографическому методу) заставляет постоянно делать поправку на такое недоверие и учить студентов объяснять, почему их работа имеет смысл и научную ценность. Проще видеть в верующих фриков или психопатов, чем нормальных и рациональных людей: спасительный этноцентризм еще никто не отменял (т.е. я-то нормален, а тот, кто не такой, — нет).

Не хочется заканчивать на печальной ноте. Все-таки за десять прошедших лет в российской антропологической науке (и даже в антропологии религии) произошло много хорошего. Она по-прежнему остается маргинальной в общем поле социальных дисциплин в России, но появляются молодые люди, которые хотят заниматься этой наукой и которые продолжают свое образование в англоязычных PhD-программах, на длительных постдоках или участвуя в международных проектах, самими своими биографиями преодолевая расстояние между «западной» и «отечественной» наукой¹. Хорошо и то, что наши западные коллеги готовы участвовать в российской академической жизни, выступая на конференциях и публикуясь в журналах и сборниках (см., например: [Русселе 2011; Тошева 2011; Леэте 2013])².

¹ Назову хотя бы пару таких международных проектов в сфере антропологии религии, поддержанных американскими фондами: «Пятидесятилетние и харизматические движения в современной России» (руководители А.А. Панченко, П. Платтет) и “Sensory Spirituality: Prayer as Transformative Practice in Eastern Christianity” (руководитель Sonja Luehrman).

² Упомяну хотя бы недавнюю конференцию “Religious Nationalism as Concept and Practice”, прошедшую в НИУ ВШЭ (СПб) в октябре 2013 г., отчет о ней будет опубликован в «АФ» [Смелова 2014].

Закончу тем, что сейчас уже можно говорить о некоторых особенностях российской антропологии — о том, например, что границы ее остаются принципиально размытыми (это прекрасно видно из тематики публикаций «Антропологического форума») и она превращается то в социальную историю, то в фольклористику, то в культуральные исследования. Если вернуться к одежным метафорам, то наша антропология делается в технике пэчворк — творим новое из того, что есть в сундуках. Выходит пестренько, но (и?) весело. Мне думается, что это хорошо: подвижные границы являются обратной стороной происходящей внутри них активной жизни, и то, что выходит, радует глаз.

Конечно, знаковым событием прошедшего десятилетия было переименование факультета этнологии ЕУСПб в факультет антропологии. Осталось теперь убедить академическую бюрократию в необходимости введения такой специальности — «социальная / культурная антропология» — в соответствующую номенклатуру, чтобы появились научные степени докторов или кандидатов антропологии. Может быть, в течение следующего десятилетия произойдет и это. Кто знает?

А что до антропологии религии — может быть, и не должно у нее быть особой национальной судьбы.

Библиография

- Леэте А.* «Бог говорит на моем родном языке»: этническая стратегия Коми церкви // Антропологический форум. 2013. № 18. С. 256–275.
- Митрохин Н.* Болезнь под названием «фонд уполномоченного» или несколько страниц об актуальных проблемах изучения религиозности в СССР // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 3–4. С. 505–511.
- Русселе К.* Об отношениях между священниками и мирянами: послушание и благословение // А. Агаджанян, К. Русселе (ред.). Приход и община в современном православии: корневая система российской религиозности. М.: Весь мир, 2011. С. 298–316.
- Смелова А.* Религиозный национализм в теории и практике // Антропологический форум. 2014. № 21 (в печати).
- Тошева Д.* От восстановления храма к созданию общины: самоограничение и материальные трудности как источники приходской идентичности // А. Агаджанян, К. Русселе (ред.). Приход и община в современном православии: корневая система российской религиозности. М.: Весь мир, 2011. С. 277–297.

ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИКОВА

Честно говоря, мне абсолютно ничего не понятно. Другим, я думаю, тоже ничего не понятно. Но многие делают вид, что понимают. А самый выигрышный вариант — молчать. Не то чтобы ничего не делать, но ничего не говорить. Просто немногие могут себе это позволить. Ученые ведь кормятся словами.

Я не понимаю, что происходит сегодня. Вот, например, объявлен прием заявок на конференцию про зайцев. Я тоже подала заявку. Но выяснилось, что нужно еще послать анкету с библиографическим описанием трех моих научных работ, «наиболее близко пересекающихся с темой предлагаемого сообщения». Три работы про зайцев? Или про любых зверей подойдет? На фоне моего общего непонимания того, что происходит, это было уже слишком. Конференция про зайцев. Назло кондуктору куплю билет и пойду пешком. Мединский сказал, что ученые занимаются ерундой, потому что занимаются философией зайцев. Поэтому назло Мединскому мы по его же указке организуем конференцию про зайцев. А если завтра Мединский упомянет морских свинок, займемся и ими. Но всем же понятно, что это жест. Хоть что-то. Хотя бы жест.

Но я втайне считаю, что заниматься зайцами — это заниматься ерундой. Не потому что зайцы — это ерунда. А потому что ведь должно же быть что-то, что не определяется Мединским. Выходит, что науку ничего не движет, и раз это так, почему бы не сдвинуться по мановению волшебной указки Мединского?

**Екатерина Александровна
Мельникова**

Музей антропологии
и этнографии
им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН,
Санкт-Петербург
Melek@eu.spb.ru

Это гораздо проще, чем задать себе вопрос о том, что мы действительно делаем. Забыв про бюрократию, карьерные лестницы, атрибуты символического статуса, ПРНД, индексы цитирования, отчеты и т.д., и т.п. Что мы действительно делаем? И главное —

зачем. Я вовсе не клоню к тому, что мы все делаем неправильно и что нет причин для того, чтобы это делать. Я употребляю местоимение «мы», а не «вы» или «они». Потому что мне кажется, в науке есть смысл. В разгар академических страстей я даже написала пафосную заметку (ее, правда, не успели опубликовать в унисон с информационным поводом, а потом уже было как-то некстати). Я оттуда сворую кусочек.

«Вопрос “А чем они там вообще занимаются?” поражает. Вот, скажите, кому-нибудь придет в голову спросить, а чем там собственно занимается iOS разработчик? Знаете, какие у него обязанности? Он должен “знать все современные технические тренды, новинки фреймворков, внутренности Objective-C и SDK, следить за последними ‘крутыми’ приложениями; быстро писать код, который не стыдно показать; еще быстрее делать грязные прототипы, код которых и смотреть никто не будет; про паттерны программирования знать больше, чем мы; с легкостью отстоять факт того, что логика должна быть в моделях, а не в контроллерах”. Это цитата из реального объявления о работе <<http://siliconrus.com/2013/04/silnyiy-ios-razrabotchik/>>. Вы знаете, о чем это они? Я — нет. Но собственно, зачем мне знать? Есть какая-то фирма, она предлагает какой-то продукт, а кто там его создает, и как они это делают, никого не волнует.

С наукой эта штука не работает. Все хотят знать, зачем нужно изучение орнамента сетуского сарафана XIX в. или языка убыхов, на котором уже никто не говорит. Все хотят знать — зачем. И все оттого, что никто не понимает, что собой представляет готовый продукт, кто его продает, кому и зачем. Поэтому приходится объяснять, что специалист по языку убыхов — это как iOS разработчик, только намного круче. А готовый продукт — это наше представление об окружающем мире. Все, что мы знаем о нем — результат научной деятельности. У кого-то есть возмущения?»

Прочитировала сама себя. Долгими осенними вечерами я втолковываю себе эту свою мысль. Она все еще кажется мне верной. Но по утрам я ее забываю. И опять перестаю понимать, зачем нужно изучение орнамента сетуского сарафана XIX в.

Не считая этого моего непонимания, в российской антропологии все, кажется, хорошо. Произошла частичная интеграция российских антропологов в международную среду. Западная среда вросла в отечественную историографию. На каждом международном академическом мероприятии я встречаю соотечественников, которые, как правило, выглядят отлично, не только ни в чем не уступая западным коллегам, но и нередко превосходя их уровнем владения теорией и материалом, умением его препарировать так, чтобы оставалось только ахнуть.

Мне вообще кажется, что международное научное поле вполне уже вообрало в себя Россию. Не всю, конечно. Но ни в США, ни в Германии, ни в Великобритании в большой дискуссии никогда не участвуют все ученые в равной степени. Так что все нормально. Правда, повисает вопрос о том, есть ли большая дискуссия.

Думая о российской антропологии, почему-то хочется написать про западную. Появилась такая любопытная тенденция — называть статьи перечнем слов. Например, “Converting Difference: Metaculture, Missionaries, and the Politics of Locality”. Так называть, чтобы невозможно было понять, о чем. Я думаю, у нас тоже так скоро будут делать.

Еще из последних лет. Понятие «мегагрант». Это когда много денег. Поразительно, что в анонсах мегапроектов почти никогда не фигурируют ни цели, ни материалы, ни, страшно сказать, предполагаемые результаты. Называются только суммы. Но это тоже из разряда того, чего я не понимаю.

В последнее время я часто оцениваю публикации исходя из того, можно ли их дать читать студентам. Так вот русскоязычных публикаций, которые можно спокойно дать, стало гораздо больше, чем десять лет назад. За последние годы появилось много качественных отечественных статей. Но почему-то из монографий, и притом именно антрополого-этнографических, в памяти всплывает только Шнирельман. Но это аж 2006 г. Наверно, уже не считается.

Почему-то очень часто, начиная читать чью-то работу, я понимаю, что она хорошая потому, что знаю, что будет дальше. Т.е. автор так разложил предмет на операционном столе, такие взял инструменты в руку, что я точно знаю, хирург — отличный, операция будет проведена без осложнений. К сожалению, на этом месте я обычно бросаю читать, потому что и так уже все ясно.

А еще очень многие люди из науки ушли. Я имею в виду не тех, кто уехал. В конце концов, я не понимаю, почему переезд ученого из Германии в Великобританию никого не пугает, а туда же из России — это уже «утечка мозгов». Я имею в виду тех, кто в здравом уме и трезвой памяти, будучи уже вполне сложившимися и даже имеющими имя, ушел, сделав сознательный выбор. В пользу, например, частных уроков. И дело не только в деньгах. (Да-да, я прекрасно понимаю, что из всего этого тоже можно сделать отличную тему научного проекта.) Просто, когда есть ты, у тебя есть знания, и перед тобой сидит человек, которому эти знания нужны, все становится как-то понятней. Тем более что, обучая человека тому, что такое стояние

на Угре, можно нечаянно научить его и тому, что такое Угра, и даже тому, где она находится и что находится рядом. А еще человека можно научить читать, говорить, писать и думать. И, что уж совсем из ряда вон: его можно научить тому, что такое хорошо, а что такое плохо. Всему этому можно научить, занимаясь подготовкой к ЕГЭ. А занимаясь наукой, нельзя. Вот такой парадокс.

Потому что наука со всей своей многомиллионной машинерией не смогла научить людей тому, что эволюция — это не «всего лишь еще одна гипотеза». Тому, что цвет кожи — не повод для убийства. Не смогла объяснить, чем медицина лучше целительства. Наука никого ничему не научила. Может, она и не должна. Более того, она, кажется, всеми силами стремилась доказать обратное. Представление о том, что магия, наука, религия — равнозначные объяснительные модели — стало общим местом научного знания в результате длительного развития интерпретативных теорий в социальных науках. Так что остается только развести руками. Практика подтверждает теорию. Но от этого почему-то не становится легче.

Нет кризиса науки. Про понятие «кризис» в научной историографии, к сожалению, уже прилично написано, так что из этой темы мегапроекта не сделать. Есть блуждание впотьмах, но с пафосом. С попыткой подмены научной мотивировки политической. И отсутствием ясного понимания того, что собой вообще представляет научная мотивировка. Если оставить в стороне объявленные конкурсы грантов, научные проекты, по инерции втягивающие в себя тех, кто держится на плаву, и собственный опыт, от которого, конечно, никуда не деться.

Существуют ли сегодня школы, которые определяют векторы развития дисциплины, или эти векторы задаются работами отдельных исследователей?

Школы по-прежнему существуют. Например, москвичи, о чьих книгах так и говорят: «Это москвичи издали». Я имею в виду группу исследователей, давно работающих под руководством Неклюдова и с завидным упорством возделывающих ниву современного фольклора. В Петербурге — филфак, где работают Светлана Адоньева и Инна Веселова. И, конечно, Европейский университет, который стал узнаваемым брендом. Сегодня уже точно можно сказать, что школа ЕУСПб существует. Несмотря на различие факультетов, программ, методик, несмотря на споры по тем или иным поводам, люди, прошедшие через ЕУ, говорят на одном языке и опознают друг друга в любой аудитории.

Между тем я думаю, что векторы науки задаются сегодня все-таки отдельными авторами. Поэтому подписка на конкретного человека гораздо важнее, чем подписка на конкретный журнал. И поэтому появление Academia.edu — на мой взгляд, одно из самых важных событий последнего десятилетия.

Все сказанное выше не касается академической науки в ее мажорном академическом смысле. Различение «провинциальной» и «туземной» наук, предложенное Соколовым и Титаевым [Соколов, Титаев 2013], не дает мне покоя. Не принимая его и считая важным избегать любых конструкций, способствующих утверждению этих метафор, я вполне осознаю существование разных представлений о том, что значит «заниматься наукой» сегодня. Но эти представления, на мой взгляд, связаны с гораздо более глобальными процессами, чем собственно трансформация российского научного сообщества.

Не знаю, как обстоят дела в других науках, но в этнографии сегодня обнаруживаются как минимум два кардинально различных типа научной работы, каждый из которых связан с особым пониманием места этнографического знания в общей системе знания, его роли и значения в сегодняшнем мире и, соответственно, тех самых научных мотивировок, которые определяют вектор научной деятельности.

Один из них — это антропологические исследования в «традиционном» смысле, опирающиеся на научную историографию, заполняющие обнаруживающиеся лакуны в научном знании, определяемые научной конъюнктурой и собственными интересами. Второй — это прикладная этнография, безусловно не имеющая спроса на международном рынке научных продуктов, но ориентирующаяся на потребности, неожиданно возникшие в самом российском обществе.

Этнографы читают лекции хореографам и режиссерам, готовят к публикации выкройки народных костюмов, издаются сборники народных рецептов, участвуют в проведении мастер-классов по народным ремеслам и т.д. Новая ниша этнографии, появившаяся в последние 10–15 лет, свидетельствует о серьезных изменениях не столько в самой науке, сколько в том социальном контексте, частью которого наука является. На протяжении долгого времени этнография была наукой, производящей знание о «другом». Сегодня она становится наукой о «своем». Раньше этнографы / антропологи были востребованы как эксперты в области чужой культуры, и даже когда речь шла об изучении «своего» народа, экзотизация предмета была неотъемлемой частью научной экспертизы. Сегодня этнографическое знание востребовано как знание о своей культуре — «отстраненной, забытой, утраченной». А этнографы выступают в роли

тех хранителей и экспертов, которые могут помочь «восстановить, вернуть, возродить».

Само это явление, связанное с превращением этнографического знания в знание о прошлом и культурных корнях, требует специального анализа. Означает ли эта трансформация появление на месте старой этнографии двух разных наук? Или исчезновение науки? Становится ли этнография частью индустрии культурной памяти, поставляющей материал для (ре)конструкции исторического прошлого? И что это означает для развития самой культуры памяти? Я не знаю.

И главное, я не понимаю, как все это может сосуществовать. Мегагранты, конференция про зайцев, мастер-классы по народному ткачеству, конгрессы этнографов и антропологов России, выгодные стажировки, участие в международных форумах и т.д., и т.п. Но я не вполне уверена в том, что это то самое непонимание, следствием которого обычно становятся научные проекты.

Библиография

Соколов М., Тутаев К. Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум. 2013. № 19. С. 239–275.

СЕРГЕЙ НЕКЛЮДОВ

1

Принципиально, пожалуй, не изменилось. Точнее, не изменилась ранее обозначившаяся тенденция к расширению предметного поля фольклористики, причем примерно в тех же направлениях, что и 1990-х:

- устные городские традиции;
- вообще современные формы бытования фольклора, в том числе и вполне «классического»;
- тексты, практики и артефакты, обнаружившие свою проницаемость для фольклористического анализа (продукты религиозной деятельности, массовой культуры, массовой литературы, тексты сетевых коммуникаций и пр.).

Сергей Юрьевич Неклюдов

Российский государственный гуманитарный университет / Школа актуальных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва
Sergey.nekludov@gmail.com

Последнее, впрочем, представляет собой не столько расширение предмета фольклористики, сколько использование ее инструментария в соседних дисциплинах, включая еще не вполне сформировавшиеся области исследования (скажем, интернет как новая форма культурной традиции). Понятно, что и увеличение количества объектов, осмысливаемых как «фольклорные факты», и использование аналитических возможностей из других научных областей (лингвистики, антропологии, социологии, психологии, биологии, математики) делает современную фольклористику все более междисциплинарной и все более универсализирует ее методологию. Данный процесс представляется мне весьма продуктивным — как для гуманитарного знания в целом, так и для самой фольклористики; при этом ее методологический потенциал, с моей точки зрения, пока используется далеко не достаточно. Наконец, в каком-то неопределенном будущем произойдет, видимо, возврат к ряду полузабытых тем, связанных со структурой текстов, проблемами их жанровой стратификации и опытами исторических реконструкций фольклорной традиции; однако пока можно констатировать только подготовку нового, более совершенного инструментария для подобного возврата.

2

За сравнительно короткое время из жизни совсем ушло поколение моих учителей, ученых-долгожителей, а поколение моих старших учеников стало окончательно взрослым. Это качественно изменило «слоевой состав» нашей среды, поскольку обстановку на авансцене научной жизни сейчас определяют исследователи, которые по своей академической, да и культурной базе сильно отличаются от предшествующих поколений ученых. Это сказывается и на тематических предпочтениях (см. п. 1), и на методологических поисках, хотя я не вижу здесь особенных напряжений. Если в нашей области и возникают какие-либо принципиальные конфликты, то они имеют скорее научно-идеологический, а не «межпоколенческий» характер. Я, по крайней мере, с подобными проблемами ни разу не сталкивался, с младшими коллегами у меня полное единодушие, надеюсь взаимное. Впрочем, как это видится с их стороны, лучше спрашивать у них.

3

Изменились, на мой взгляд, достаточно сильно, хотя опять-таки данные изменения начались не в последнее десятилетие, а гораздо раньше. Как это и бывает в годы социально-идеологических кризисов, общество разочаровывается в рациональном знании, что неминуемо плодит чудовищ самого дикого обскурантизма, за примерами которого не приходится ходить далеко в прошлое. Наука нынче «не в моде», сейчас быть невеждой не стыдно, надо быть «успешным», причем исключительно в плане социально-экономическом (точнее, финансовом). Особенно это касается

«чистого», т.е. «фундаментального» знания («чистоту» которого, как и связь со знанием «практическим», можно обсудить отдельно). Его ценность упала чуть ли не до нуля.

Современный антиинтеллектуализм парадоксален. Пожалуй, не было эпохи, когда благополучие человека столь сильно и очевидно не зависело бы от научных исследований. Не в мистических прозрениях и не в религиозном экстазе, а вследствие научных изысканий созданы сами условия жизнедеятельности современного общества, включая технику, пропитание и медицину. И свое разочарование в фундаментальных науках современный обыватель выражает, сев за компьютер и отправляя затем свои рассуждения *urbi et orbi* в социальные сети интернета. Поистине, лишь были б желуди...

А государство? Оно ведь часть общества, орган его прямого действия.

4

Моя методологическая база — семиотический и структурно-типологический подход к устным традициям, но, естественно, в обновленном и современном виде. В той или иной степени мне, как кажется, удастся убедить своих младших коллег в продуктивности данного инструментария. Это, естественно, не исключает обращения к аналитическим возможностям других направлений фольклористики, не противоречащих нашим теоретическим установкам. Конечно, научные школы в фольклористике сегодня существуют.

АЛЕКСАНДР ПАНЧЕНКО

1

2

3

Если говорить преимущественно о российской науке и в большей степени о практической, чем институциональной стороне дела, то, как мне кажется, главный итог прошедшего десятилетия — это очень существенное размывание дисциплинарных границ и тематических иерархий в «антропологических» и «историко-филологических» науках. То, о чем мы говорили в первом номере «Антропологического форума» как о возможном, желательном или происходящем на наших глазах, теперь стало вполне очевидной реальностью. И эта реальность не только открыла важные и интересные интеллектуальные перспективы, но и поставила перед нами новые проблемы.

**Александр Александрович
Панченко**

Институт русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН,
Санкт-Петербург
aranchenko2008@gmail.com

Думаю, что произошедшие изменения стоит объяснять не столько итогами наших теоретических дебатов (хотя, вероятно, они тоже сыграли какую-то роль в трансформации академической науки), сколько более общими процессами, связанными с информационными изменениями современного мира. Развитие электронных сетей, способов хранения и поиска информации существенно трансформировали «ремесленную» сторону специализированных гуманитарных исследований. Сейчас часто можно слышать, что Google и Яндекс «убили» научную эрудицию, и это во многом справедливо, хотя нынешние формы представления информации в интернете все равно требуют от ученого и специализированных фактографических знаний, и особых навыков поиска. Дело, однако, не в эрудиции как таковой: стало очевидным, что именно «старые» способы хранения и использования информации были одним из главных факторов в формировании и поддержании дисциплинарных границ. Во многих дисциплинах и академических сообществах борьба за воображаемый контроль в отношении информационных ресурсов составляла чуть ли не основное содержание научной работы. Я уже не говорю об особом — хотя и вымирающем, но все же довольно живучем — типе архивных и библиотечных работников, видевших свое призвание не в облегчении, но в затруднении доступа «посторонних» к хранимой информации. Все это, конечно, можно объяснять специфическими советскими / российскими параноидами в отношении производства знания, но все же, как мне кажется, здесь можно говорить и о более общих тенденциях мировой науки XX в.

Сейчас ситуация изменилась, и научные работы сугубо историко-научного характера, важные для решения тех или иных прикладных задач, но не имеющие более широкого аналитического значения, публикуются все реже. Собственно говоря, сейчас нам вообще стоит задуматься об оптимизации традиционных способов научной публикации и комментирования источников. Так, печатные академические издания «памятников литературы и фольклора» постепенно теряют какой-либо смысл. Поскольку в обществе, где роль книги и «традиционных» форм чтения резко снижается, академические «собрания сочинений» и «фольклорные своды» интересуют преимущественно или исключительно профессионалов. Очевидно, что прежние «академические издания» должны сменить электронные базы данных с удобными для исследователя интерфейсом, способами поиска и представления текстов, а также комментария и анализа. Думаю, что аналогичные способы публикации источников должны появиться и в других гуманитарных дисциплинах.

Впрочем, я ушел несколько в сторону от темы своих рассуждений. Доступность информации (как источников, так и аналитических работ) и связанная с ней проницаемость дисциплинарных границ показали, что и «ремесленный» научный инструментарий, и теоретико-методологические ориентиры, считавшиеся основой той или иной области знаний, обладают вполне достаточным потенциалом «взаимной переводимости», что вопросы, обсуждаемые одним кругом «узких специалистов», как правило, имеют, так сказать, своих «близнецов» в смежных, а иногда и достаточно удаленных исследовательских сообществах. Собственно говоря, именно критерий «переводимости» позволяет сегодня отделять научную проблему от псевдопроблемы. Если исследователь не может объяснить смысл своей работы на «чужих» дисциплинарных языках, значит, он занят либо ерундой, либо крайне узкими источниковедческими темами, не имеющими аналитического значения.

На практике это означает, что научно работа, формально принадлежащая к ведомству, скажем, фольклористики, не может сегодня считаться квалифицированной, если она игнорирует данные, методы и теории различных направлений антропологии, социологии, истории и, возможно, иных дисциплин — в зависимости от того, о какой конкретной теме идет речь. В сущности, доклады, которые мне приходилось слышать в последние годы на конференциях международных ассоциаций фольклористов, антропологов и религиоведов, действительно очень немногим отличаются друг от друга и в терминологическом, и в методологическом отношении. Более того, сам состав докладчиков не столь уж существенно меняется в казалось бы различных дисциплинарных контекстах. Такое положение дел, как мне кажется, несколько не снижает роли экспертного знания, последнее по-прежнему остается основой научной деятельности. Однако одной лишь эмпирической или специализированной эрудиции ученому теперь явно недостаточно: каждый квалифицированный исследователь обязан разбираться в дисциплинарном разнообразии современных теорий и методов, так или иначе связанных с предметом его занятий.

Все это, конечно, заставляет более серьезно говорить об институциональных рамках гуманитарного знания и об отношениях науки и общества в современном мире. Если дисциплинарные границы оказываются иллюзорными и проницаемыми, то каким должен быть облик современных научных институций? Мне приходилось, скажем, писать о том, что эссенциалистские представления о фольклоре как особой области культуры, регулируемой воображаемыми объективными «законами», а также романтические и националистические фантазии не только

завели фольклористику в аналитический тупик, но и скомпрометировали ее как научную дисциплину. Значит ли это, однако, что университетские программы и кафедры, а также исследовательские отделы, занимающиеся фольклористикой, необходимо закрыть? Думаю, что это совсем не обязательно. Именно понимание условности дисциплинарных границ позволяет сохранять и даже оберегать старые институциональные «бренды», наполняя их новым исследовательским содержанием. Другой вопрос, готовы ли к этому «узкие специалисты», построившие свою научную карьеру на сугубо эмпирической эрудиции и жесткой дисциплинарной идентичности? Вполне возможно, что не готовы, но, как мне кажется, сохранить status quo ad praesens им все равно не удастся.

Другое дело, конечно, что ученому, живущему в России, нужно делать поправку на особенности окружающего его общества, чье будущее представляется мне плохо предсказуемым. Речь идет даже не о массовом православно-патриотическом одичании (хотя его тоже не стоит игнорировать), но о формировании нового тоталитарного режима, опирающегося, как и положено такому режиму, на бюрократию и распространяющего бюрократические метастазы во все сферы профессиональной деятельности, в том числе — в высшее образование и академическую науку. Существенный процент продукции (будь то монографии, учебники, лекционные курсы и т.п.), производившейся советскими гуманитарными дисциплинами эпохи «развитого социализма», состоял из, так сказать, «интеллектуального мусора», посвященного так называемым «марксизму-ленинизму», «диалектическому» и иным «материализмам», «научному атеизму» и пр. Социально-экономический кризис 1990-х гг., конечно, заставил уехать за границу многих квалифицированных специалистов и отчасти усложнил жизнь новому поколению исследователей, однако вместе с тем изгнал из академической жизни «мусорных ученых», заинтересованных не в интеллектуальной деятельности, а в деньгах и бюрократической власти. Сейчас, по-видимому, нам следует ожидать их возвращения. Высшее образование уже довольно серьезно изучено бюрократическими инновациями, а реформа Российской академии наук, вероятно, принесет нечто подобное и в исследовательские учреждения. Я не берусь судить, как именно «новые бюрократы» будут вести себя в отношении научных институций и практик исследовательской работы, но вряд ли здесь стоит ожидать чего-то хорошего. Очевидный пример того, что может происходить, — это разгром Российского института искусствознания, устроенный невежественным министром Мединским и назначенными им функционерами. Впрочем, еще раз хочу подчеркнуть, что строить прогно-

зы касательно даже ближайшего будущего России как общества и государства, по-моему, довольно сложно.

Еще одна проблема, которая стала достаточно заметной в последние годы и, в известной степени, связана с упомянутыми информационными процессами, касается отношений академических исследований и так называемой пара- или псевдонауки. Собственно говоря, этой теме была посвящена дискуссия в 18 номере «Антропологического форума» [Форум 2013], в которой я, к сожалению, не смог принять участие. Поэтому сейчас я ограничусь лишь несколькими краткими соображениями, имеющими, как мне кажется, известное отношение к вопросу о науке и обществе. Нельзя не согласиться с тем, что само по себе лавинообразное распространение «альтернативных» научных практик и идеологий в начале XXI в. во многом обусловлено и новыми способами распространения информации, и тем же самым размыванием дисциплинарных границ, а также распадом жестких иерархических структур производства знания. Вместе с тем речь, вероятно, должна идти и о более общих особенностях современного общества, где ключевые концепты, подобные «науке» и «религии», оказываются предметом постоянной конкуренции и дискурсивной (ре)интерпретации.

С одной стороны, я готов согласиться с тем, что «легитимная наука» должна «принимать всерьез» паранаучные дискурсы и что разница между «псевдоучеными» и учеными «настоящими» не столь уж существенна, как это кажется иным людям. Однако, с другой стороны, мои специальные занятия различными формами «(пара)научного воображения» в культуре современных религиозных движений позволяют мне предположить, что академическая наука и псевдонаука все же апеллируют к различным метанарративам и отвечают на разные вопросы, которые вряд ли стоит просто редуцировать к человеческой потребности «осмыслить окружающее при помощи любых доступных инструментов». Не случайно, например, одним из постоянных спутников современных паранаучных дискурсов оказывается конспирологический нарратив, представляющий собой хотя и общедоступный, но по-своему специфический инструмент смыслообразования.

Короче говоря, мне кажется, что псевдонаучные тексты, идеи и практики должны быть предметом не только разоблачения или негодования, но и собственно антропологических исследований. Впрочем, такие исследования уже ведутся, и далеко не первый год. При этом, однако (и речь здесь должна идти не только о паранауке, но и о других дискурсах и общественных группах, оказывающихся предметом нашей аналитической

работы), мы не в состоянии считать свою исследовательскую позицию сугубо «монологической». Когда мы пишем о паранаучной конспирологии как о «реакции на модернизацию» или «средстве конструирования идентичности», нам стоит помнить, что при помощи этой конспирологии другие люди пытаются если не исследовать, то хотя бы осмыслить наше собственное существование. Таким образом, субъект и объект академического исследования оказываются своего рода равноправными участниками социального диалога. Конечные результаты такого диалога не всегда представляются очевидными, а его возможные эмоциональные издержки для обеих сторон могут оказаться существенными, при этом он все равно представляется мне более заманчивой перспективой по сравнению с возрождением бюрократических иерархий и «мусорной науки» советского типа. Думаю, впрочем, что в долгосрочной перспективе возвращение к этим и иным институциональным формам науки XX в. все равно окажется невозможным.

4

Мне кажется, что время «научных школ» в любых гуманитарных дисциплинах прошло. Собственно говоря, само содержание этого понятия тоже заслуживает специального обсуждения, но если понимать под школой устойчивую исследовательскую группу, объединенную жесткой объяснительной моделью, методологией или предметно-тематической ориентацией, то, как я думаю, такой тип научных сообществ не имеет особых перспектив. Кроме того, современная наука вообще имеет не «иерархическую», а «сетевую» организацию, т.е. состоит не из групп, возглавляемых харизматическими лидерами, а из неформальных (как правило, международных) сообществ, имеющих скорее эгалитарный характер. В этом контексте мне кажется более интересным и продуктивным следить за работой разных исследователей — и тех, кто принадлежит к «моим» сетям, и тех, кто ближе к другим неформальным сообществам. Стоит иметь в виду, что понятие «школы» связано не только с представлениями о научной иерархии, но и с идеей эпистемологического монизма, ориентацией на «единые» и «универсальные» объяснительные модели. Думаю, что подходы такого рода тоже уходят в прошлое. Хотя я не могу назвать себя последовательным сторонником идей П. Фейерабенда, я полагаю, что формирование интерпретативных моделей и «структур интереса» в современной науке не подчиняется монистическому принципу и основано на более сложных процессах, заслуживающих и осмысления, и отдельного исследования.

Библиография

Форум «Наука и псевдонаука» // Антропологический форум. 2013. № 18. С. 9–140.

МАДЛЕН РИВС

Антропология Средней Азии через десять лет после «состояния поля»¹: стакан наполовину полон или наполовину пуст?

В 2004 г., когда вышел первый номер «Антропологического форума», хватало пальцев одной руки, чтобы посчитать англоязычные монографии, посвященные пяти государствам постсоветской Средней Азии². Антропологи, обучавшиеся за пределами Советского Союза, начали писать диссертации на полевых материалах из Средней Азии в середине 1980-х гг., когда длительные этнографические исследования в этом регионе впервые стали реально возможны³. Диссертационные исследования, проведенные за десятилетие перед началом 2000-х гг., вносили вклад в дискуссии на разнообразные темы: родство, брак и гендерные отношения в Таджикистане [Tett 1995; Harris 2000], родственные сети казахских домохозяйств [Werner 1997], восстановление колхозов в Узбекистане [Abramson 1998; Zanca 1999], материальная культура и домашнее пространство [Bunn 2000], локальные динамики власти и политического влияния [Pétric 2002; Rasanayagam 2002],

Мадлен Ривс (Madeleine Reeves)
 Университет Манчестера,
 Великобритания
 madeleinereeves@gmail.com

-
- ¹ В английской версии первого номера «Антропологического форума» тема для дискуссии, которая в русском варианте звучала как «Современные тенденции в антропологических исследованиях», формулировалась как “Cultural Anthropology: The State of the Field”, «Культурная антропология: состояние поля». [Прим. пер.]
- ² С учетом ограниченного пространства, которое было выделено мне для этого обзора «состояния поля», я буду говорить преимущественно об англоязычной этнографической литературе, посвященной Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, привлекая для сравнения антропологическую литературу на французском и русском языках. Эти же ограничения не позволяют мне упомянуть о значительном вкладе, который был сделан в антропологию региона в более широком географическом смысле, включая Афганистан и Синьцзян. И точно так же я оставляю в стороне исследования культурно близких регионов Монголии, Тибета и Внутренней Монголии (Inner Asia). Прекрасный обзор важных дискуссий среди исследователей Средней и Юго-Западной Азии за последнее десятилетие см. в: [Marsden 2012].
- ³ Шуберлен-Энгель [Schoeberlein-Engel 1994] заявляет, что его диссертация 1994 г. об идентичности в Средней Азии, основанная на исследовании, проведенном между 1986 и 1991 гг., была первой. Тремя десятилетиями ранее Элизабет Бэкон опубликовала монографию о Средней Азии под властью России, пользуясь результатами полевой работы 1930-х гг. Однако из предисловия к изданию этой книги в 1980 г. становится понятно, что вся полевая работа, которую Бэкон могла провести в советской Средней Азии, сводилась к нескольким неделям в Алма-Ате летом 1934 г. Остальная часть исследования для книги была проведена в Афганистане и Иране, а результаты экстраполированы на Среднюю Азию [Vasop 1980].

мусульманская религиозная практика и коллективная память [Privratsky 2001], политэкономика медицины в терзаемом войной таджикском Бадахшане [Keshavjee 1998], поколенческие и межэтнические динамики в Кыргызстане [Kuehnast 1997; Liu 2002], отношения между полами в Алма-Ате [Rigi 1999], национальная идентичность и восстановление прежней привилегированной культурной элиты в Узбекистане [Doi 2002; Adams 1998] и отношения между человеком и животными в Кыргызстане [Jacquesson 2000]. Многие из этих важных диссертаций 1990-х, однако, либо так и не были опубликованы в виде книг, либо увидели свет позднее, уже в следующем десятилетии (например, [Zanca 2011; Adams 2010; Liu 2012; Uehling 2004; Jacquesson 2011; Rasanayagam 2010]). В начале 2000-х гг. для англоязычной аудитории соответствующей специализации этнографическая библиография по Средней Азии все еще наполняла пустыню.

В России и бывших советских республиках публикационный пейзаж начала 2000-х гг. был не менее скудным, но по другим причинам. Этнографические экспедиции в Среднюю Азию 1960–1980-х гг. дали исследователям, применяющим исторические и этнографические методы, возможность заниматься длительной коллективной полевой и архивной работой. В свои лучшие годы отдел Средней Азии и Казахстана (так он тогда назывался) Института этнологии и антропологии Российской академии наук поддерживал крупные коллективные исследовательские проекты, посвященные сельской и городской семейной жизни. Результатом стал впечатляющий объем полевых материалов и отчетов, многие из которых до сих пор не опубликованы. Одновременно исторические, археологические и текстологические исследования проводились в ленинградской Кунсткамере и Институте востоковедения в Москве. Экономический кризис 1990-х гг. и смена политических приоритетов, впрочем, привели к тому, что многие ученые, работавшие в этих институтах, ушли из науки, переключились на другой регион или занялись прикладными проблемами межэтнического напряжения в постсоветское время (см., например, серию «Исследования по прикладной и неотложной этнологии» Академии наук, которая начала выходить в 1990 г.). В 2005 г. статус отдела Средней Азии и Казахстана в рамках Института этнологии и антропологии РАН был понижен до исследовательской группы в составе Центра азиатских и тихоокеанских исследований. Несмотря на появление нескольких важных научных монографий (например, [Бушков 1995] о населении северного Таджикистана; [Каландаров 2004] о шугнанцах таджикского Бадахшана), в целом в начале 2000-х гг. этнографические монографии о переживающей радикальные изменения

сельской жизни в Средней Азии не пользовались особым спросом, финансирование новых полевых исследований по большей части прекратилось вместе с резким сокращением бюджетов академических институтов.

В государствах Средней Азии этнографические исследования в начале 2000-х гг. находились в аналогичных условиях финансовой неопределенности и использовались для того, чтобы артикулировать (конкурирующие) национальные нарративы или искать глубокие исторические корни нации. Исчерпывающая оценка меняющегося поля антропологической науки и преподавания в Средней Азии выходит за рамки задач этого текста (см.: [Laguette 2010] об Узбекистане; [Gullette 2010] о Кыргызстане). И все-таки некоторые значительные тенденции, которые наблюдаются в государствах бывшего Советского Союза, здесь можно обозначить. Среди них — предпочтение археологической и архео-этнологической исследовательской тематики проектам, которые обращаются прежде всего к современным социальным и культурным явлениям; дискурсивное доминирование определенных теоретических подходов, как, например, возведение виталистских идей национальной пассионарности Льва Гумилева де-факто в ранг официальной идеологии в Казахстане и Кыргызстане¹, а также возникновение значительного разрыва между поколением исследователей, прошедших профессиональную социализацию преимущественно в англоязычных или франкоязычных академических сообществах и ориентированных на изучение социального конструирования и политической мобилизации категорий «нация», «племя», «гендер», «этническая группа», и старшим поколением, которое оперирует более субстантивистским пониманием «этноса», пришедшим из позднесоветского учения Юлиана Бромляя и его школы.

При наличии достойных внимания исключений «официальная» антропология, которой занимаются в государственных академиях наук Средней Азии и которая представлена в музеях этнологии, была и остается скорее описательной, чем критической дисциплиной и в некоторых случаях вполне явно поддерживает политические заявления о национальной автохтонности или исторической первоначальности. Например, в Таджикистане ученых-этнографов призывают изучать арийское наследие таджикского народа. Один таджикский этнолог, который во время перестройки написал авторитетный труд о землепользовании и сельскохозяйственных традициях таджикского меньшинства в узбекистанской долине Соха [Джахонов

¹ На идеях Гумилева о выживании народа и пассионарности построен изданный в 2004 г. трактат президента Аскара Акаева о киргизской государственности и «Манасе» [Акаев 2002].

1989], стал ярким сторонником арийства как национальной идеологии Таджикистана, якобы в противовес национализмам тюркских групп Средней Азии¹. Между тем в Узбекистане к началу 2000-х гг. этнология, по словам Марлен Ларюэль, стала «одной из правящих наук национальной государственности», призванной продемонстрировать «неоспоримые основания превосходства узбекского народа над другими национальными группами в их титульном государстве» ([Laruelle 2010: 104], см. также: [Абашин 2009]).

Сочетание новых национализмов, радикально изменившихся условий для публикаций (для издания научной монографии теперь нужен или солидный грант, или значительные личные вложения) и устойчивого убеждения, будто задача этнологии заключается в связывании настоящего нации с ее давним прошлым, создало в начале 2000-х гг. довольно гнетущую обстановку для антропологической науки в Средней Азии. Возобновившееся политическое давление также привело к тому, что среднеазиатские исследователи, особенно в крайне жесткой академической среде Узбекистана и Туркменистана, часто избегали тем, которые могли хоть в какой-то степени показаться политически острыми, а значит, исключены оказались почти любые исследования, которые не восхваляли бессмертную духовную культуру титульной нации. Один ученый в Узбекистане, носитель таджикского языка, который защитил кандидатскую диссертацию в Душанбе в начале 1990-х гг., признался мне в 2005 г., что он даже не хочет забирать свою диссертацию с собой в Узбекистан, хотя это было совершенно аполитичное исследование свадебных обрядов. Предпринятое в его диссертации изучение узбекистанского региона с преимущественно таджикским населением сделало ее политически некорректной. Он сказал: “Zamon senga bokmasa, sen zamonga bok!” («Если эпоха не высматривает тебя, лучше ты сам посматривай на эпоху»)².

Состояние поля в 2014 г.

Оценивая «состояние поля» в 2014 г., необходимо принимать во внимание относительно скудный ландшафт антропологиче-

¹ По сообщениям прессы, в 2005 г. Джахонов говорил, что арийство необходимо, потому что нужно «показать и доказать другим, где наше истинное место. Каждая нация должна знать свое место» [Saizadimova 2005]. Интересно, что в серии бесед, которую я провела с ним под запись в марте 2005 г., Джахонов сказал, что он считает себя «интернационалистом», и в качестве примера привел свою этнически смешанную семью в Худжанде: «Были времена раньше, в XIX в. были феодальные отношения, когда Советской власти не было, ну тогда не было нации, вот без нации отсюда мы ехали в Китай и не спрашивали, что я таджик. А сейчас каждый шаг спрашивает, вот они же научились. В капиталистическом мире самосознание уже давно сложилось» (Интервью, Худжанд, 22.03.2005).

² Вот почему я не включила эту диссертацию в библиографию.

ских исследований десятилетием ранее. Первая значительная перемена за последние десять лет коснулась объема публикаций. Масштаб научного производства в англоязычном академическом мире, как в отношении количества аспирантов-антропологов, занимающихся Средней Азией, так и в отношении числа опубликованных монографий, с середины 2000-х гг. вырос довольно значительно и продолжает расти, хотя и не такими быстрыми темпами, после 2010 г.¹ Высказываются доводы в пользу включения этнографических методов в исследования Средней Азии, которые предпринимаются из перспективы других дисциплин: географии [Bichsel 2009; Megoran 2002; 2006], политологии [Schatz 2004; Heathershaw 2009; Spector 2009; Satybaldieva 2010] и даже криминологии [Botoeva 2014]. В последние годы набирает обороты диалог между политологами и антропологами, ориентированный на создание новых описаний «слабого государства» в Средней Азии [Heathershaw, Schatz n.d.; Reeves, Rasanayagam, Beyer 2014], понимание отношений между политикой и исламом [Heathershaw, Roche 2011] и изучение локальных политик и политической мобилизации ([Satybaldieva 2010]; Доолоткелдиева (работа над текстом продолжается)). Возможно, из-за относительно небольшого размера поля диапазон и разнообразие междисциплинарного академического сотрудничества здесь особенно впечатляют: вместе работают антропологи и политологи или антропологи и историки (например: [Sahadeo, Zanca 2007]).

Среднеазиатская антропология выигрывает и от растущего разнообразия профессиональных траекторий, которые приводят людей в это поле. В 1990-е гг. исследователи обычно попадали в Среднюю Азию, получив образование в области российской / советской этнографии и освоив местный язык через посредство русского. К середине 2000-х гг. в среднеазиатских студиях с таким же успехом можно было встретить и специалистов в области тюркских или персидских исследований, как тех, кто до этого проводил полевую работу на Ближнем Востоке или в Южной Азии, так и тех, кто раньше делал поле в русскоязычном окружении. Показательно, что многие из тех, кто недавно защитил диссертации по Средней Азии в США, приступили к исследованиям, имея опыт в американском Корпусе мира. В их работах чувствуется тонкое знание языка, культуры и социальных связей, что приходит после двух лет погружения в деревенскую жизнь (три примечательных примера таких дис-

¹ Среди монографий, посвященных этнографии Средней Азии, которые опубликованы с 2004 г., можно упомянуть: [Adams 2010; Finke 2014; Gullette 2010; Harris 2004; Hilgers 2011; Kehl-Bodrogi 2008; Kirmse 2013; Liu 2012; Louw 2007; Pétric 2013; Rasanayagam 2010; Reeves 2014; Roche 2014; Trevisani 2010; van der Heide 2008; Zanca 2011]. На основе еще большего количества диссертаций сейчас пишутся книги.

сертаций на материале Кыргызстана: [Borbieva 2007; Montgomery 2007; McBrien 2008]).

Расширилось и концептуальное содержание поля. Среднеазиатский материал получает более глубокую проработку, когда его привлекают для сравнения зрелые исследователи, которые занимаются проблемами колониализма и постколониализма, стратегий миграций и выживания (*livelihood*), антропологией государства, гендера и развития (например, Рут Мандель в Германии, Кэтрин Александер в Турции, Матис Пелькманс в Грузии, Роланд Харденберг в Индии, Магнус Марсден в Пакистане, Питер Финк в Монголии, Сюзан Тиме в Непале). Иногда, чтобы пересмотреть деление мира, унаследованное от региональных исследований времен холодной войны, формулируются темы, которые объединяют Южную и Среднюю Азию или Среднюю Азию и Ближний Восток. Магнус Марсден, например, проводит многообещающее исследование среди афганских торговцев и работает между Кабулом, Душанбе и Дубаем [Marsden 2014]; Роланд Харденберг опирается на выводы, сделанные на основе южно-азиатской этнографии, изучая отношения родства в сельском Кыргызстане [Hardenberg 2009].

Наряду с увеличением числа исследователей наблюдается и рост тематического и методологического разнообразия: например, недавно запущенные проекты охватывают проблематику исследований науки и технологии, правовой и политической антропологии, экономической антропологии и работают со среднеазиатским материалом по таким разным темам, как микрофинансовые инициативы, написание новых конституций и повседневная материализация новых дорог и международных границ. Набирает обороты городская антропология, проводятся примечательные исследования жизни в космополитической Бухаре, архитектурных соблазнов современной Астаны и межгрупповых отношений в микрорайоне Бишкека (см.: [Humphrey, Marsden, Skvirskaja 2009] о Бухаре, [Bissenova 2012; Laszczkowski 2011; 2012] об Астане, [Nasritdinov 2007; Schröder 2011] о Бишкеке). Исследования религиозного обращения и движений за религиозное возрождение применяют на среднеазиатском материале недавние разработки антропологии религии и антропологии этики [McBrien, Pelkmans 2008]. Важные шаги сделаны к пониманию меняющегося опыта нетитульных меньшинств и их «адаптивных стратегий» [Космарская 2006; Liu 2012; Flynn, Kosmarskaia 2012]. Большой исследовательский проект, поддерживаемый фондом Кристенсена, направлен на детальное картирование священных мест Кыргызстана и издание серии публикаций о почитателях *мазаров* и стражах священных мест [Aitraeva et al. 2007]. Можно отметить и примечательные (хотя и пока еще относительно единичные) работы по лингвистической антропо-

логии, этномузикологии и демографической антропологии (см., соответственно: [Dubuisson 2009; Pritchard 2011; Roche 2014]), по проблемам памяти, конструирования истории и политики коммеморации [Jacquesson, Beller-Hann 2012].

Если в 2004 г. на страницах «Антропологического форума» звучало сожаление, что исследователи, работающие на территории бывшего Советского Союза, сравнительно мало занимаются «современными» темами, сейчас для такой критики уже нет оснований. К 2014 г. антропологи проводят исследования как среди пастухов или фермеров, так и среди шахтеров Караганды (продолжающийся проект Кескюлы), архитекторов в Астане [Bissenova 2012], дорожных строителей в Горном Бадахшане [Mostowlansky 2013], художников Алма-Аты [Nauruzbaeva 2011], юристов в Бишкеке [Beyer 2013] или эстрадных певцов в Ташкенте (продолжающийся проект Кленке). Наблюдение стратегий выживания может проводиться как на одном месте, так и в движении. Например, некоторые антропологи, специализирующиеся на Средней Азии, занимаются важными исследованиями политических аспектов миграций между Монголией и Казахстаном или Кыргызстаном и Россией [Barcus, Werner 2010; Flynn 2004; Sancak 2007]. Они детально описали опыт среднеазиатских мигрантов в России и Казахстане, а также роль денежных переводов в поддержке далекого дома [Isabaeva 2011; Rahmonova-Schwarz 2012; Reeves 2012; Thieme 2012; Aitieva n.d.]. В выходящей литературе уделяется внимание современным мобильным режимам существования торговцев и миссионеров [Nasritdinov 2012; Marsden 2014].

Среди других вдохновляющих тенденций заслуживает упоминания возросшая за последние десять лет активность академических обменов между разными институциями и разными странами. Межправительственные и неправительственные организации, такие как Институт «Открытое общество», дали возможность растущему (хотя все еще сравнительно небольшому) числу исследователей из Средней Азии учиться, защищать диссертации и занимать постдоковские позиции в западных университетах. В Казахстане правительственная программа «Болашак» финансирует зарубежные поездки исследователей, которые иначе не могли бы заниматься архивной или полевой работой из-за преподавательской нагрузки. Одновременно возросла видимость среднеазиатской антропологии на международных конференциях, а расширение географического масштаба среднеазиатских исследований получило институционализацию усилиями таких организаций, как Общество Центрально-евразийских исследований (CESS), Европейская ассоциация среднеазиатских исследований (ESCAS) и Ассоциация славянских, восточно-европейских и евразийских ис-

следований (ASEEES). Публикуются коллективные монографии и специальные выпуски журналов, посвященные этнографии Средней Азии [Kandiyoti, Mandel 1998; Rasanayagam 2006; Sahadeo, Zanca 2007; Reeves 2011; Kirmse 2011; Montgomery 2013; Reeves, Rasanayagam, Beyer 2014]. Регион все чаще фигурирует в подборках сравнительных исследований, в том числе по вопросам повседневной морали и религиозных практик [Hann et al. 2006; Heintz 2009], отношений между исламом и политикой в разнообразных глобальных условиях [Osella, Soares 2010], этики гостеприимства [Candea, Da Col 2012], религиозного обращения после социализма [Pelkmans 2009], разновидностей современного номадизма [Oushakine 2012] и меняющейся социальной динамики «посткосмополитических» городов [Humphrey, Skvirskaja 2012].

Поле усилили новые институты и факультеты, которые включили среднеазиатскую этнографию в программы сравнительных исследований, новые книжные серии (такие как «Исследования по антропологии Евразии Халле» издательства «Лит-Верлаг», серия «Внутренняя Азия» издательства «Брилл» и «Центральная Евразия в контексте» издательства Университета Питтсбурга) и модернизация ведущего регионального научного журнала “Central Asian Survey” под редакцией Дениз Кандийоти, антрополога по образованию, исследователя, специализирующегося в области международного развития.

Более того, в последнее десятилетие в самой Средней Азии реализуются несколько значительных инициатив в области институционализации сравнительной, критической и теоретически фундированной социальной или культурной антропологии. В 2001 г. Американский университет Центральной Азии реформировал прежний факультет киргизской этнологии в факультет культурной антропологии и археологии, который с тех пор создал качественно новую и впечатляюще разнообразную программу преподавания, где наряду со среднеазиатской тематикой читаются курсы по антропологии Океании или Ближнего Востока, а также предлагаются теоретически ориентированные курсы, например «Язык, культура и власть». В Казахстане недавно основанный факультет антропологии фланманского университета Назарбаева (Астана) укомплектован целой группой антропологов, прошедших обучение в США, среди них и Шуберлен, чья диссертация 1994 г. была первым исследованием идентичности в Средней Азии, опиравшимся на этнографический материал. На таких программах растет новое поколение антропологов, знакомых с англоязычной антропологической теорией и дискуссиями, хотя их более отдаленные последствия для антропологической науки, развивающейся в регионе и посвященной региону, еще предстоит оценить.

Наполовину полный, наполовину пустой?

Перечисленные достижения, вероятно, свидетельствуют, что стакан скорее наполовину полон, чем наполовину пуст. Но эта картина нуждается в уточнениях. Важная оговорка к портрету, представленному выше, заключается в том, что рост недавних этнографических исследований Средней Азии распределен неравномерно.

Например, Туркменистан все еще практически не доступен для какой-либо серьезной этнографической полевой работы. Работы, которые издаются по этому региону, по большей части либо исторические (например, Эдгар, в чьей превосходной монографии [Edgar 2004] привлечены материалы архивных фондов, сейчас в основном недоступные для западных исследователей), либо сосредоточены на политических трансформациях на макроуровне (например, [Peugouse 2012])¹.

На другом полюсе находится Кыргызстан, который благодаря более открытой политической культуре, сравнительно менее навязчивым службам безопасности, широкой сети международных организаций и климату, благоприятному для исследований, гораздо более доступен и для иностранных антропологов, предпринимающих продолжительное этнографическое исследование, и для местных исследователей, которые пишут основанные на этнографическом методе диссертации в России, Японии, Австралии, Северной Америке и Западной Европе (в Кыргызстане нет официальной аккредитации ВАК по этнологии или этнографии). Так что неудивительно, что Кыргызстан пока наиболее широко представлен в антропологической литературе по Средней Азии, и именно на его материале с 2004 г. защищено или готовится к защите по меньшей мере двадцать диссертаций, использующих этнографический метод, в рамках антропологии и других дисциплин².

Антропология Казахстана значительно обогатилась благодаря нескольким недавним диссертациям, посвященным разнообразным темам. Это и *айтысы* — состязания импровизированной поэтической декламации [Dubuisson 2009], и материальные соблазны новой столицы Астаны [Bissenova 2012;

¹ В то же время см. ценное исключение: [Blackwell 2001].

² Среди показательных примеров завершенные диссертации [Beyer 2009; Borbieva 2007; Botoeva 2014; Féaux de la Croix 2010; Gullette 2007; Ismailbekova 2012; Kuchumkulova 2007; McBrien 2008; Montgomery 2007; Nasritdinov 2007; Rakhimov 2011; Reeves 2008; Reynolds 2013; Satybaldieva 2010; Schröder 2011; van der Heide 2008] и готовящиеся работы Айтиевой, Алымбаевой, Бичика, А. Ботоевой, Доолоткелдиевой, Исабаевой, Пайна, Притчарда, Рубинова и Фельдмана. И это не исчерпывающий список. Отсутствие единого надежного каталога диссертаций по Средней Азии, основанных на этнографическом материале, означает, что такие проекты часто попадают в фокус внимания только «по факту», когда они уже опубликованы.

Laszczkowski 2012]. Это и тонкие политические проблемы, связанные с болезненными воспоминаниями об экологических загрязнениях в Семипалатинске [Werner, Purvis-Roberts 2014], о политике приватизации в Алма-Ате [Alexander 2004]. Есть работы, посвященные новым режимам покровительства искусству [Nauruzbaeva 2011] и неоднозначному «возвращению» казахских немцев и русских [Diener 2004].

Сравнительно мало изучен Таджикистан, опустошенный гражданской войной 1992–1997 гг., но эта картина меняется. В последние годы с использованием этнографического материала пишутся диссертации о «преимущество молодых» (“*youth bulge*”) и последствиях гражданской войны [Roche 2014], идеях модерности и маргинальности в горном Памире [Mostowlansky 2013; Remtilla 2012], переживании времени и субъективности в Кулобе [Ibanez-Tirado 2013], увлечении практикующих суфизм священным прошлым [Gatling 2012], религиозном образовании и моральной аргументации [Stephan 2010] и локальных онтологиях экологических изменений и риска (Ismail-Veben, продолжающееся исследование).

Исследования Узбекистана последнего десятилетия представляют собой менее воодушевляющую картину. В короткий период установления дружеских отношений между правительствами Средней Азии и США и другими западными государствами в рамках «войны против террора» западные исследователи встречали на своем пути меньше препятствий, чем раньше или когда-либо вообще. В первые полтора десятилетия независимости в Узбекистане можно было проводить совместные студенческие конференции, относительно свободно заниматься этнографической полевой работой среди рабочих и деревенских «элит» [Trevisani 2010; Rasanayagam 2010; Zanca 2011; Wall 2008; Finke 2014], в городских *махаллах* (округ, территориальная единица самоуправления) [Baykal 2007], среди мигрантов, приехавших в город из деревни [Turaeva 2010], религиозных деятелей и новообращенных [Hilgers 2011] или художников, деятелей культуры и элит, вовлеченных в государственное строительство (см.: [Trevisani 2010; Adams 2010; Pétric 2002], соответственно).

Иностранные институты, в том числе Французский институт исследований Средней Азии (IFEAC), который организовал множество научных визитов, могли работать без чрезмерного вмешательства в их дела. В апреле 2002 г. меня даже пригласили в государственный университет Андижана, чтобы я прочла серию лекций о «гражданском обществе» при содействии Института «Открытое общество» Узбекистана. Десятилетием позже такой визит был уже почти немислим. Среди тех, кто

начинал пионерские исследования Узбекистана в 1990-е и ранние 2000-е гг., многие теперь не могут въехать в страну, а если въезжают, попадают под слежку органов безопасности.

Одна известная исследовательница Узбекистана отказалась от работы в стране и сосредоточилась на интернет-организации узбекской оппозиции в изгнании [Kendzior 2012]. Узбекские исследователи, которые защитились в западных учреждениях (например, [Тугаева 2010]), вполне могут обнаружить, что дома их профессиональные знания не востребованы, или решить публиковать свои работы только под псевдонимом. Институт «Открытое общество» был вынужден закрыться в 2004 г., а вместе с ним исчез и один из главных источников поддержки высшего образования. Французский институт (IFEAC), под сенью которого развивалось впечатляющее число исторических, археологических, литературоведческих и антропологических исследовательских проектов, был спешно прикрыт в 2010 г., а его архив конфискован.

Есть и другие препятствия на пути внятного очерчивания поля региональных исследований. Отсутствие «классических текстов» по Средней Азии, которые были бы знакомы и коллегам, работающим в Папуа — Новой Гвинее или в Африке южнее Сахары, приводит к тому, что антропологи здесь часто чувствуют свою маргинальность по отношению к более широким дискуссиям. В своей монографии 2007 г. об узбекском религиозном опыте в Бухаре, основанной на исследовании начала 2000-х гг., Мария Лоу отмечает, что Средняя Азия, по счастью, не затронута «ключевыми концептами» (“gate-keeping concepts”), которые ассоциируются с другими регионами мира («дар» в Меланезии, «племя» в Африке), между тем сложно избежать чувства, будто в каждой новой монографии приходится заново «изобретать велосипед». Относительный дефицит антропологического анализа и теорий, основанных на эмпирическом материале из Средней Азии, полагает Лоу, может породить у исследователей чувство, как будто они оказались «в антропологически ничьих землях, обреченные на аналитический бриколаж и колебания между страхом высказать идеи, которые для остальных антропологов прозвучат как банальность, с одной стороны, и искушением делать поспешные широкие выводы на основе ограниченного материала — с другой» [Louw 2007: 18].

Возможно, самый серьезный вызов институциональному развитию поля среднеазиатской антропологии за пределами Средней Азии связан с более широкими особенностями рынка труда социальной и культурной антропологии. В Северной Америке, где работодатели часто указывают желаемую регио-

нальную специализацию, в описаниях вакансий редко фигурирует «Евразия» (и еще реже «Средняя Азия»). В результате складывается ситуация, когда многие прекрасные специалисты по Средней Азии вынуждены скитаться по постдокам или временным позициям, с низкими гарантиями занятости и малыми шансами продолжить исследовательскую карьеру. Одна исследовательница Средней Азии, защитившая диссертацию по культурной антропологии, в недавнем интервью высказалась резко, назвав среднеазиатские исследования «умирающим полем». Она заметила, что многие эксперты по региону сейчас остались без работы «или занимаются работой, которая не имеет никакого отношения к Средней Азии» (Кендзиор, цитируется в: [Tucker 2014]). Ирония такого прочтения ситуации в том, что то самое поколение, которое первым получило возможность продолжительной непрерывной этнографической полевой работы на местном языке, теперь не может найти постоянную работу, которая бы задействовала их профессиональные знания.

Взгляд Сары Кендзиор на современное состояние поля исключительно пессимистичен — и надо заметить, исключительно американоцентричен. Возможно, она придает чрезмерное значение финансированию образования в области региональных исследований со стороны американского правительства и игнорирует то обстоятельство, что многие антропологи, специализирующиеся по Средней Азии и получившие образование в США, находят возможности заниматься исследованиями региона за пределами академической среды. Она, однако, напоминает о том, что антропологическое изучение Средней Азии тормозится и реалиями тупиковых обсуждений в Конгрессе США, и превратностями визовых режимов и президентской политики в государствах Средней Азии.

Таким образом, вопрос о том, стакан наполовину полон или наполовину пуст, остается открытым. В 2014 г. ландшафт антропологических публикаций в этой области, несомненно, богаче и разнообразнее, чем был в 2004. Не столь однозначно ясны долгосрочные перспективы исследований в регионе, который стал менее доступен для исследователей, чем десять лет назад, и который грантодатели рассматривают как маргинальный по отношению к их стратегическим интересам.

Библиография

Абашиш С. Мустакиллик и память об имперском прошлом: проходя по залам ташкентского Музея памяти жертв репрессий // Неприкосновенный запас. 2009. № 4 (66). С. 37–54.

Акаев А. Кыргыз мамлекеттүүлүгү ана Манас элдик эпосу. Бишкек: Учкун, 2002.

- Бушков В.* Население северного Таджикистана: формирование и расселение. М.: РАН, 1995.
- Джахонов У.* Земледелие таджиков долины Соха в конце XIX — начале XX в. (Историко-этнографическое исследование). Душанбе: Дониш, 1989.
- Каландаров Т.* Шугнанцы: историко-этнографическое исследование. М.: РАН, 2004.
- Космарская Н.* «Дети империи» в постсоветской Центральной Азии: адаптивные практики и ментальные сдвиги: русские в Киргизии, 1992–2002. М.: Наталис, 2006.
- Abramson D.* From Soviet to Mahalla: Community and Transition in Post-Soviet Uzbekistan. PhD diss. Indiana University, 1998.
- Adams L.* Celebrating Independence: Arts, Institutions and Identity in Uzbekistan. PhD diss. University of California, Berkeley, 1998.
- Adams L.* The Spectacular State. Culture and National Identity in Uzbekistan. Durham: Duke University Press, 2010.
- Aitieva M.* An Ethnography of Transnational Family Life in Kyrgyzstan. Dissertation in progress. University of Manchester, n.d.
- Aitpaeva G. et al.* Mazar Worship in Kyrgyzstan: Rituals and Practitioners in Talas. Bishkek: Aigine Cultural Research Center, 2007.
- Alexander C.* Values, Relations, and Changing Bodies: Industrial Privatization in Kazakhstan // С. Humphrey, К. Verdery (eds.). Property in Question: Appropriation, Recognition and Value Transformation in the Global Economy. Oxford: Berg Publishing, 2004. P. 251–274.
- Bacon E.* Central Asians under Russian Rule: A Study in Culture Change. Ithaca: NY: Cornell University Press, 1980.
- Barcus H., C. Werner.* The Kazakhs of Western Mongolia: Transnational Migration from 1990–2008 // Asian Ethnicity. 2010. Vol. 11. P. 209–228.
- Baykal A.* Surviving the Post-Soviet Transition: Changing Family and Community Relations in Urban Uzbekistan. PhD diss. Boston University, 2007.
- Beyer J.* According to Salt: An Ethnography of Customary Law in Talas, Kyrgyzstan. PhD diss. Martin Luther University Halle-Wittenberg, 2009.
- Beyer J.* Constitutional Faith // Ethnos: Journal of Anthropology. 2013. P. 1–26. [Online first, no volume number].
- Bichsel C.* Conflict Transformation in Central Asia: Irrigation Disputes in the Ferghana Valley. Abingdon: Routledge, 2009.
- Bissenova A.* Post-Socialist Dreamworlds: Housing Boom and Urban Development in Kazakhstan. PhD diss. Cornell University, 2012.
- Blackwell C.* Tradition and Society in Turkmenistan: Gender, Oral Culture and Song. Abingdon: Routledge, 2001.
- Borbieva N.* Development in the Kyrgyz Republic: Exchange, Communal Networks, and the Foreign Presence. PhD diss. Harvard University, 2007.

- Botoeva G.* The Local Drug Economy: The Case of Hashish in a Kyrgyz Village. PhD diss. University of Essex, 2014.
- Bunn S.* The House of Meaning: Tents and Dwelling Among the Kyrgyz of Central Asia. PhD diss. University of Manchester, 2000.
- Candea M., Da Col G.* The Return to Hospitality: Strangers, Guests, and Ambiguous Encounters // Special Issue of the Journal of the Royal Anthropological Institute. 2012. Vol. 18. P. 1–19.
- Diener A.* Homeland Conceptions and Ethnic Integration Among Kazakhstan's Germans and Koreans. N.Y.: Edwin Mellon Press, 2004.
- Doi M.* Gesture, Gender, Nation: Dance and Social Change in Uzbekistan. Westport: Greenwood Publishing Group, 2002.
- Dubuisson E.* The Value of a Voice: Culture and Critique in Kazakh Aitysh Poetry. PhD diss. University of Michigan, 2009.
- Edgar A.* Tribal Nation: The Making of Soviet Turkmenistan. Princeton: Princeton University Press, 2004.
- Féaux de la Croix J.* Moral Geographies in Kyrgyzstan: How Pastures, Dams and Holy Sites Matter in Striving for a Good Life. PhD diss. University of St. Andrews, 2010.
- Finke P.* Variations on Uzbek Identity. Strategic Choices, Cognitive Schemas and Political Constraints in Identification Processes. Oxford: Berghahn, 2014.
- Flynn M., Kosmarskaya N.* Exploring “North” and “South” in Post-Soviet Bishkek: Discourses and Perceptions of Rural-Urban Migration // Nationalities Papers. 2012. Vol. 40. P. 453–471.
- Flynn M.* Migrant Resettlement in the Russian Federation: Reconstructing Homes and Homelands. London: Anthem Press, 2004.
- Gatling B.* Post-Soviet Sufism. Texts and the Performance of Tradition in Tajikistan. PhD diss. Ohio State University, 2012.
- Gullette D.* Kinship, State, and “Tribalism”: The Genealogical Construction of the Kyrgyz Republic. PhD diss. University of Cambridge, 2007.
- Gullette D.* The Genealogical Construction of the Kyrgyz Republic: Kinship, State and “Tribalism”. Folkstone: Global Oriental, 2010.
- Hann C. et al.* The Postsocialist Religious Question. Faith and Power in Central Asia and East-Central Europe. Berlin: Lit Verlag, 2006.
- Hardenberg R.* Reconsidering “Tribe”, “Clan”, and “Relatedness”: A Comparison of Social Categorization in Central and South Asia // Scrutiny: A Journal of International and Pakistan Studies. 2009. Vol. 1. P. 37–62.
- Harris C.* Control and Subversion: Gender, Islam and Socialism in Tajikistan. PhD diss. University of Amsterdam, 2000.
- Harris C.* Control and Subversion: Gender Relations in Tajikistan. L.: Pluto, 2004.
- Heathershaw J.* Post-Conflict Tajikistan: The Politics of Peacebuilding and the Emergence of Legitimate Order. Abingdon: Routledge, 2009.
- Heathershaw J., Roche S.* Islam and Political Violence in Tajikistan: An Ethnographic Perspective on the Causes and Consequences of the

- 2010 Armed Conflict in the Kamarob Gorge // *Ethnopolitics Papers*. 2011. No. 8. P. 1–21.
- Heathershaw J., Schatz E.* The Logics of State Weakness in Eurasia: An Introduction // J. Heathershaw, E. Schatz (eds.). *The Logics of State Weakness in Eurasia*. Unpublished manuscript.
- Heintz M.* *The Anthropology of Moralities*. Oxford: Berghahn, 2009.
- Hilgers I.* *Why Do Uzbeks Have to be Muslims? Exploring Religiosity in the Ferghana Valley*. Berlin: Lit Verlag, 2011.
- Humphrey C., Marsden M., Skvirskaja V.* *Cosmopolitanism and the City: Interaction and Coexistence in Bukhara* // S. Mayaram (ed.). *The Other Global City*. Abingdon: Routledge, 2009. P. 202–231.
- Humphrey C., Skvirskaja V.* *Post-Cosmopolitan Cities: Explorations of Urban Coexistence*. Oxford: Berghahn, 2012.
- Ibanez-Tirado D.* *Temporality and Subjectivity in Kulob, Southern Tajikistan: An Ethnography of Ordinary People and their Everyday Lives*. PhD diss. SOAS, University of London, 2013.
- Isabaeva E.* *Leaving to Enable Others to Remain: Remittances and New Moral Economies of Migration in Southern Kyrgyzstan* // *Central Asian Survey*. 2011. Vol. 30. P. 541–554.
- Ismailbekova A.* “The Native Son and Blood Ties”: Kinship and Poetics of Patronage in Rural Kyrgyzstan. PhD diss. Martin Luther University, 2012.
- Jacquesson S.* *La chasse au vol en Asie centrale: savoirs et pratiques*. PhD diss. INALCO-EHESS, 2000.
- Jacquesson S.* *Pastorealismes. Anthropologie historique des processus d’integration chez les Kirghiz du Tian Shan interieur*. Weisbaden: Reichert, 2011
- Jacquesson S., Beller-Hann I.* *Local History as an Identity Discipline* // Special issue of *Central Asian Survey*. 2012. Vol. 31. P. 239–354.
- Kandiyoti D., Mandel R.* *Market Reforms, Social Dislocation and Survival in Post-Soviet Central Asia* // Special Issue of *Central Asian Survey*. 1998. Vol. 17. P. 533–718.
- Kehl-Bodrogi K.* *Religion is Not So Strong Here: Muslim Religious Life in Khorezm After Socialism*. Berlin: Lit Verlag, 2008.
- Kendzior S.* *The Uzbek Opposition in Exile: Diaspora and Dissident Politics in the Digital Age*. PhD diss. Washington University in Saint Louis, 2012.
- Keshavjee S.* *Medicines and Transitions: The Political Economy of Health and Social Change in Post-Soviet Badakhshan, Tajikistan*. PhD diss. Harvard University, 1998.
- Kirmse S.* *Youth in the Former Soviet South: Everyday Lives Between Experimentation and Regulation* // Special Issue of *Central Asian Survey*. 2011. Vol. 29. P. 381–549.
- Kirmse S.* *Youth and Globalization in Central Asia: Everyday Life Between Religion, Media and International Donors*. Frankfurt/Maine: Campus Verlag, 2013.

- Kuchumkulova E.* Kyrgyz Nomadic Customs and the Impact of Re-Islamization after Independence. PhD diss. University of Washington, 2007.
- Kuehnast K.* Let the Stone Lie Where It Has Fallen: Dilemmas of Gender and Generation in Post-Soviet Kyrgyzstan. PhD diss. University of Minnesota, 1997.
- Laruelle M.* National Narrative, Ethnology and Academia in Post-Soviet Uzbekistan // *Journal of Eurasian Studies*. 2010. Vol. 1. P. 102–110.
- Laszczkowski M.* Building the Future: Construction, Temporality and Politics in Astana // *Focaal*. 2011. Vol. 60. P. 77–92.
- Laszczkowski M.* City of the Future: Built Space and Social Change in Astana, Kazakhstan. PhD diss. Martin Luther University Halle-Wittenberg, 2012.
- Liu M.* Recognizing the Khan: Authority, Space and Political Imagination Among Uzbek Men in Osh, Kyrgyzstan. PhD diss. University of Michigan, 2002.
- Liu M. Y.* Under Solomon's Throne: Uzbek Visions of Renewal in Osh. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2012.
- Louw M.* Everyday Islam in Post-Soviet Central Asia. Abingdon: Routledge, 2007.
- Marsden M.* Trading Worlds: Afghan Merchants Across Modern Frontiers. L.: Hurst, 2014.
- Marsden M.* Southwest and Central Asia: Comparison, Integration or Beyond? // R. Fardon et al. (eds.). *The SAGE Handbook of Social Anthropology*. L.: Sage, 2012. P. 340–365.
- McBrien J.* The Fruit of Devotion: Islam and Modernity in Kyrgyzstan. PhD diss., Martin Luther University Halle-Wittenberg, 2008.
- McBrien J., Pelkmans M.* Turning Marx on His Head: Missionaries, “Extremists”, and Archaic Secularists in Post-Soviet Kyrgyzstan // *Critique of Anthropology*. 2008. Vol. 28. P. 87–103.
- Megoran N.* The Borders of Eternal Friendship? The Politics and Pain of Nationalism and Identity Along the Kyrgyzstan-Uzbekistan Fergana Valley Boundary. PhD diss. University of Cambridge, 2002.
- Megoran N.* For Ethnography in Political Geography: Experiencing and Re-Imagining Fergana Valley Boundary Closures // *Political Geography*. 2006. Vol. 25. P. 622–640.
- Montgomery D.* The Transmission of Religious and Cultural Knowledge and Potentiality in Practice: An Anthropology of Social Navigation in the Kyrgyz Republic. PhD diss. Boston University, 2007.
- Montgomery D.* Negotiating Well-Being in Central Asia // *Special Issue of Central Asian Survey*. 2013. Vol. 32. P. 423–541.
- Mostowlansky T.* Azan on the Moon: Entangling Modernities Along Tajikistan's Pamir Highway. PhD diss. University of Berne, 2013.
- Nasritdinov E.* Regional Changes in Kyrgyzstan: Bazars, Open Air Markets, and Social Networks. PhD diss. University of Melbourne, 2007.
- Nasritdinov E.* Spiritual Nomadism and Central Asian Tablighi Travelers // *Ab Imperio*. 2012. Vol. 2. P. 145–167.

- Nauruzbaeva Z.* Portraiture and Proximity: “Official” Artists and the State-ization of the Market in Post-Soviet Kazakhstan // *Ethnos*. 2011. Vol. 76. P. 375–397.
- Osella F., Soares B.* (eds.). *Islam, Politics, Anthropology*. Malden: Blackwell, 2010.
- Oushakine S.* Unsettling Nomadism // Special Issue of *Ab Imperio*. 2012. No. 2. P. 53–81.
- Pelkmans M.* (ed.). *Conversion After Socialism: Disruptions, Modernisms and Technologies of Faith in the Former Soviet Union*. Oxford: Berghahn, 2009.
- Pétrie B-M.* *Pouvoir, don et réseaux en Ouzbékistan post-Soviétique*. P.: PUF, 2002
- Pétrie B-M.* *On a mangé nos moutons. Le Kirghizstan, du berger au businessman*. P.: Belin, 2013.
- Peyrouse S.* *Turkmenistan: Strategies of Power, Dilemmas of Development*. N.Y.: M.E. Sharpe, 2012.
- Pritchard M.* Creativity and Sorrow in Kyrgyzstan // *Journal of Folklore Research*. 2011. Vol. 48. P. 167–196.
- Privratsky B.* *Muslim Turkistan. Kazak Religion and Collective Memory*. Surry: Curzon Press, 2001.
- Rahmonova-Schwarz D.* *Family and Transnational Mobility in Post-Soviet Central Asia*. Baden-Baden: Nomos, 2012.
- Rakhimov R.* Transformation of Kyrgyz Nomadism in the 1920–30s in the Works of Western Researchers. PhD diss. EHESS, 2011.
- Rasanayagam J.* The Moral Construction of the State in Uzbekistan: Its Construction Within Concepts of Community and Interaction at the Local Level. PhD diss. University of Cambridge, 2002.
- Rasanayagam J.* *Islam in Post-Soviet Uzbekistan: The Morality of Experience*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Rasanayagam J.* Post-Soviet Islam: Anthropological Perspectives // Special Issue of *Central Asian Survey*. 2006. Vol. 25. P. 217–371.
- Reeves M.* *Border Work: An Ethnography of the State at its Limits in Rural Central Asia*. PhD diss. University of Cambridge, 2008.
- Reeves M.* Movement, Power and Place in Central Asia and Beyond: Contested Trajectories // Special Issue of *Central Asian Survey*. 2011. Vol. 30. P. 307–576.
- Reeves M.* Black Work, Green Money: Remittances, Ritual, and Domestic Economies in Southern Kyrgyzstan // *Slavic Review*. 2012. Vol. 71. P. 108–134.
- Reeves M.* *Border Work: Spatial Lives of the State in Rural Central Asia*. Ithaca: Cornell University Press, 2014.
- Reeves M, Rasanayagam J., Beyer J.* *Ethnographies of the State in Central Asia: Performing Politics*. Bloomington: Indiana University Press, 2014.
- Remtilla A.* Re-Producing Social Relations: Political and Economic Change and Islam in Post-Soviet Tajik Ishkashim. PhD diss. University of Manchester, 2012.

- Reynolds R.* Locating Persons: An Ethnography of Personhood and Place in Rural Kyrgyzstan. PhD diss. University of Glasgow, 2013.
- Rigi J.* Coping with the Chaos [bardak]: Chaos, Networking, Sexualized Strategies and Ethnic Tensions in Almaty, Kazakhstan. Doctoral diss. SOAS University of London, 1999.
- Roche S.* Domesticating Youth: The Youth Bulges and their Socio-Political Implications in Tajikistan. Oxford: Berghahn, 2014.
- Sahadeo J., Zanca R.* Everyday Life in Central Asia: Past and Present. Bloomington: Indiana University Press, 2007.
- Saizadimova G.* Tajikistan: Officials Say Swastika Part of their Aryan Heritage. Radio Free Europe / Radio Liberty. 2005. <<http://www.rferl.org/content/article/1064129.html>>.
- Sancak M.* Contested Identity: Encounters with Kazak Diaspora Returning to Kazakhstan // *Anthropology of East Europe Review*. 2007. Vol. 25. P. 85–94.
- Satybaldieva E.* The Nature of Local Politics in Rural Kyrgyzstan: A Study of Social Inequalities, Everyday Politics and Neo-liberalism. PhD diss. University of Kent, 2010.
- Schatz E.* Modern Clan Politics: The Power of “Blood” in Kazakhstan and Beyond. Seattle: University of Washington Press, 2004.
- Schoeberlein-Engel J.* Identity in Central Asia: Construction and Contention in the Conceptions of “Özbek”, “Tājik”, “Muslim”, “Samarqandi” and Other Groups. PhD diss. Harvard University, 1994.
- Schröder P.* From Shanghai to Iug-2: Integration and Identification Among and Beyond the Male Youth of a Bishkek Neighbourhood. PhD diss. Martin Luther University Halle-Wittenberg, 2011.
- Spector R.* Protecting Property: The Politics of Bazaars in Kyrgyzstan. PhD diss. University of California, Berkeley, 2009.
- Stephan M.* Moral Education, Islam and Being Muslim in Tajikistan // C. Hann (ed.). Religion, Identity, Postsocialism. Halle / Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology, 2010. P. 49–52.
- Tett G.* Ambiguous Alliances: Marriage and Identity in a Muslim Village in Soviet Tajikistan. PhD diss. University of Cambridge, 1996.
- Thieme S.* Coming Home? Patterns and Characteristics of Return Migration in Kyrgyzstan // *International Migration*. 2012. [Online first].
- Trevisani T.* Land and Power in Khorezm: Farmers, Communities and the State in Uzbekistan. Berlin: Lit Verlag, 2010.
- Tucker N.* Sarah Kendzior Says What We Have All Been Afraid to Say... // *Registan*. 2014, Jan. 26. <<http://registan.net/2014/01/26/sarah-kendzior-says-what-we-have-all-been-afraid-to-say/>>.
- Turaeva R.* Identification, Discrimination and Communication: Khorezmian Migrants in Tashkent. PhD diss. University of Halle-Wittenberg, 2010.
- Uehling G.* Beyond Memory: The Crimean Tatars’ Deportation and Return. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2004.
- van der Heide N.* Spirited Performance: The Manas Epic and Society in Kyrgyzstan. Amsterdam: Rozenberg Publishers, 2008.

- Wall C.* Argorods of Western Uzbekistan: Knowledge Control and Agriculture in Khorezm. Berlin: Lit Verlag, 2008.
- Werner C.* Household Networks, Ritual Exchange and Economic Change in Rural Kazakhstan. PhD diss. Indiana University, 1997.
- Werner C., Purvis-Roberts K.* Cold War Memories and Post-Cold War Realities: The Politics of Memory and Identity in the Everyday Life of Kazakhstan's Radiation Victims // M. Reeves, J. Rasanayagam, J. Beyer (eds.). *Ethnographies of the State in Central Asia: Performing Politics*. Bloomington: Indiana University Press, 2014. P. 285–310.
- Zanca R.* The Repeasantization of an Uzbek Kolkhoz: An Ethnographic Account of Post-Socialism. PhD diss. University of Illinois, 1999.
- Zanca R.* Life in a Muslim Uzbek Village: Cotton Farming after Communism. Belmont: Wadsworth Cengage Publishing, 2011.

СЕРГЕЙ СОКОЛОВСКИЙ

1

Всякий диагноз предполагает наличие диагноста (его опыта и нередко — специальных инструментов и методов), базы для сравнения (набора прототипов или прецедентов, относительно которых определяется нынешнее состояние объекта диагностики) и самого объекта. Чтобы вся эта конструкция заработала, необходимы некоторое доверие к диагносту и его методам, а также присутствие (или хотя бы вера в наличие) объекта перед (пусть мысленным) взором диагноста. А если речь не может вестись о доступности объекта для непосредственного восприятия — то хотя бы достижимость этого объекта для избранных с этой целью инструментов и методов. Необходима также уверенность в том, что прецедент или прототип, используемый для сравнения, относится к тому же объекту (иными словами, нужна уверенность или вера в существование объекта в период установления прототипа и в период самой диагностики).

Сергей Валерьевич Соколовский

Институт этнологии
и антропологии РАН,
Москва
sokolovskiserg@gmail.com

Таким образом, чтобы ответить на столь лишь по видимости простой вопрос, мы должны не только примерить на себя роль

диагноста, но и располагать некоторым набором методов и инструментов и хотя бы верить в существование объекта диагностики на протяжении обозначенного в вопросе периода времени. Здесь возникают некоторые проблемы. Научная дисциплина — объект для восприятия непростой. В некотором смысле она подобна прочим воображаемым сообществам, и чтобы сравнивать ее нынешнее состояние с прежним, нужно сохранять веру в ее наличие или располагать аргументами, неоспоримо свидетельствующими о ее существовании в рассматриваемый период. Чем мы в этом смысле располагаем, рассуждая о (как мудро и обтекаемо обозначили это авторы вопроса) «нашей дисциплине»?

Всякий, хотя бы немного знакомый с историей той совокупности весьма аморфных сегодня областей исследовательской и преподавательской деятельности, которая носит у нас, как лернейская гидра, то ли три, то ли пять голов (каждая — со своим именем (этнография, этнология, социальная антропология, культурная антропология, социокультурная антропология)), волен усомниться, что речь идет об одной и той же дисциплине. Да полноте, воскликнет скептик, сравнив курсы этнографии, скажем, кафедры этнографии исторического факультета СПбГУ с курсами антропологии ЕУСПб (или, к примеру, курсы социальной антропологии в РГУ и этнологии — в МГУ, не говоря уже о совсем экзотических трактовках предмета на так называемых непрофильных факультетах, где преподаватели и студенты испытывают серьезные трудности с дисциплинарной идентификацией и определением проблемного поля той дисциплины, которая дала название их кафедре). Да разве эти головы могут принадлежать одному существу?

Не лучше обстоит дело и с попытками объединения разношерстных исследовательских практик под рубрику одной дисциплины. Увлечения этносоциологов и «этнополитологов» не пересекаются с проблемами и заботами считающихся частью антропологического сообщества «гендеристов». Исследователи толерантности и конфликтов не заглядывают в работы музееведов, религиоведов или фольклористов. Сибиреведам мало интересны труды кавказоведов, американисты и африканисты плохо осведомлены о работах друг друга. Однако все эти люди, часто разделенные не только теоретическими воззрениями и исследовательскими интересами, но и историей их собственного становления как исследователей (одним делом подчас занимаются географы, историки, лингвисты и представители еще дюжины специальностей, волею судеб попавшие на работу в академические центры или на университетские кафедры или оказавшиеся в одном проекте), институционально объедине-

ны местами работы, журналами, фондами, издательскими домами, собираются на общие конгрессы и считают друг друга представителями одной профессии, продолжая игнорировать работы коллег, исключая кучку единомышленников. Эти герметические миры трудно, если не невозможно измерить общим лекалом. Их успехи или провалы, тупики или прорывы, застой или бурное развитие стороннему наблюдателю незаметны; лишь многолюдные «тренды», собирающие под свои знамена разномастных почитателей (структурализм, герменевтика, постструктурализм, прагматизм и т.п.), привлекают внимание историков науки своими шумными победами и поражениями. Между тем революция в исследованиях материальности, свершаясь в «параллельном мире» (конкретнее, в обществе по антропологии науки и технологий, более известном как STS), проходит незамеченной даже среди тех, кто изучает материальную культуру¹. Тем не менее во всех герметически замкнутых на свои интересы сообществах оттачиваются уникальные умения и добываются знания, более нигде не встречаемые.

Майкл Оукшот в опубликованной четверть века назад книге [Oakeshott 1989], выступая против реформы университетов, целью которой было утилитарное и «релевантное» обучение, лучше многих, как мне кажется, описал суть дисциплинарной специализации: «Каждое истинное *techne* является или опирается на особую манеру мышления, а представление о том, что ты способен мыслить вообще, без мышления в подобного рода особой манере, без отсылки к какой-либо конкретной области дискурса, является философской иллюзией. Каждое истинное *techne* при его полном освоении знает нечто о своих собственных ограничениях, поскольку проникает в суть собственных предпосылок», а все, кто стремится к установлению единого шаблона в образовании, остаются «ненадежными проводниками, чья невоздержанная жажда создает миражи» [Oakeshott 1989: 134]. Дэвид Милз (британский антрополог, занимающийся антропологией образования), комментируя эти размышления именитого философа, пишет, что дисциплины по этой логике обеспечивают обучение, и высокая преданность дисциплинарной идентичности предоставляет более глубокое освоение знаний: «Дисциплины

¹ Сомневаюсь, что российские этнографы, специализирующиеся на исследованиях костюма и одежды, обратили внимание, например, на работу “Manifesto for the Study of Denim” [Miller, Woodward 2007], опубликованную в ведущем британском журнале по социальной антропологии. Причина проста: джинсы не входят в так называемую «традиционную культуру», и потому отечественная профессиональная оптика, сфокусированная на традиции, их просто не замечает. В силу этого весь сложный комплекс отношений между глобальным и локальным (как и проблематика аутентичности и гибридности) перестает быть релевантным для наших специалистов по одежде, — а их работы строятся на изрядно обветшавшей методологии кросскультурного сравнения и интересных открытий уже давно не обещают.

лины сами для себя являются педагогикой и собственным обоснованием (*rationale*)» [Mills 2008: 175].

Трудности для диагноста (или в более привычной фразеологии — историка науки, оценивающего ее развитие и для этого сравнивающего по крайней мере два его периода, два разнесенных во времени состояния) заключаются тогда как раз в установлении границ таких несущих особые *techne* дисциплин, в попытке увидеть реальные когнитивные сообщества за институционально или исторически навязанными конгломератами, имеющими общее официальное наименование. Что оказалось перед его взором: один объект или множество? И если множество, то существуют ли какие-то рациональные основания для объединения всех его элементов, установления правил и проведения линий, отграничивающих такие элементы от прочих, не охватываемых этими правилами и регулярностями? Или же все исчерпывается институциональной инерцией, причудами исторических судеб и административно-классификаторским насилием, в результате которого воцарилась та «табель о рангах», согласно которой мы за защиту диссертаций о вполне современных явлениях получаем степень кандидата или доктора исторических наук?

Что касается происходящих изменений, то существуют все основания утверждать (этот тезис, разумеется, нуждается в доказательствах, которые требуют, однако, значительно более развернутого изложения, нежели формат реплики в форуме), что фрагментация дисциплины, уже и в последние советские десятилетия не бывшей единой, зашла сегодня настолько глубоко, что мы имеем дело с набором слабо связанных между собой специализаций и сообществ. Часть их покинула пределы того, что может представляться как социокультурная антропология или этнология, другая часть (остатки альянсов с сопредельными дисциплинами, никогда не входившими в качестве органичных элементов в то (квази)единство, которое именовалось этнографией или этнологией — этнопсихология, этноархеология, этнодемография и этнокартография) фактически прекратила свое существование. Наконец, третья часть, по сию пору составляющая ядро, а точнее — два практически самостоятельных ядра, готовые, как в ядерной реакции, к разделению на две самостоятельных дисциплины, не имеющие, однако, освященных традицией собственных наименований, продолжают представлять российскую антропологию как отдельный и относительно самостоятельный предмет. В ближайшее время, однако, они скорее всего будут подвержены мучительным метаморфозам, поскольку если не их *raison d'être*, то эвристический потенциал (интеллектуальная привлекательность) близок к исчерпанию.

Этими областями являются прикладная политическая антропология в ее российском варианте, с одной стороны, и этнографическая фольклористика — с другой. Понятно, что эти области практически не пересекаются ни в теоретическом, ни в проблемном, ни в социологическом (поскольку реализуются разными сообществами) планах, так что говорить о единых тенденциях изменений в дисциплине в целом вряд ли возможно. Существуют, впрочем, маргинальные попытки выстроить социокультурную антропологию на иных основаниях, реализуемые, однако, сравнительно небольшими группами исследователей, не получивших до сих пор особого признания и поддержки сообщества в целом. О некоторых причинах такого положения вещей см. ниже.

2

О катастрофическом старении академической гуманитарной науки и почти полном отсутствии в ней среднего поколения мне уже приходилось писать [Соколовский 2011]. Старееющее старшее поколение, помимо того что его представителям все труднее выезжать в поле, оказывается все менее ориентированным в происходящем за рамками «своей» с годами устоявшейся проблематики, что особенно справедливо в отношении новых направлений и концепций. В результате аспирантам навязываются концептуально устаревшие подходы и темы, а понастоящему инновационная тематика не опознается как «этнографическая» («антропологическая») и поддерживается скорее как исключение или случайность. Тем самым на ведущих университетских кафедрах и в аспирантурах научных центров в тематике диссертаций бесконечно воспроизводятся вариации на хорошо известные темы, а новаторские исследования маргинализуются, их авторам приходится искать работу за пределами академии или дисциплины.

Именно поэтому, например, антропология организаций (как, впрочем, и антропология медиа, современного искусства или спорта) у нас развивается социологами или антропологами, реализующими себя в социологических центрах. То же самое можно сказать про STS и вообще об исследованиях современности вне их связей с этничностью или фольклором. И именно поэтому большинство проектов в рамках прикладной антропологии оказываются либо экспертизами законодательных инициатив и министерских проектов и программ, либо ассоциированными с темами, в которых отчетливо просматривается не столько социальный, сколько политический заказ (толерантность и конфликты, миграция, брендинг территорий и партий, молодежные группировки и т.п.). Модернизация дисциплины происходит в гомеопатических дозах и, как правило, стимулируется извне (на кафедре или в отделе появляется сотрудник, прошедший стажировку за рубежом, и вовлекает в совместные

проекты молодежь). Коротко говоря, воспроизводство традиции мы обеспечили хорошо и даже с перехлестом, но вот с ее развитием, а тем более с привитием новых и соответствующих времени направлений ситуация совсем не радужная.

3

Порожденная отсутствием нормальной смены поколений стагнация дисциплины имела следствиями ее провинциализацию в глобальной экономике знаний и вырождение наиболее востребованных обществом прикладных направлений в сервильную экспертизу при госсекторе. Судя по публикациям с описанием ситуаций в некоторых родственных общественных и гуманитарных дисциплинах, аналогичные процессы происходили и в них. В числе причин отставания и провинциализации российских социальных наук и гуманитарных дисциплин называются следующие:

- 1) обвальное сокращение финансирования научного сектора в 1990-е гг. и численности исследовательского сообщества;
- 2) отсутствие инфраструктуры для горизонтальной мобильности ученых в границах страны и концентрация исследовательских центров и крупных университетов в столицах и двух-трех крупных региональных центрах [Елфимов 2008; Соколов 2008];
- 3) падение качества образования студентов и уровня требований, предъявляемых к диссертациям, разрыв между содержанием исследований и учебных курсов, кризис системы научной сертификации и появление конфликтующих стандартов научности [Бикбов 2009; Гудков 2009; Соколов 2010];
- 4) коммерциализация университетского образования по схемам «серого» и «черного» рынков [Бикбов 2009];
- 5) нехватка среднего поколения, обусловленная совокупным влиянием выезда молодежи из страны, сокращением числа рабочих мест академии, снижением реальных зарплат ученых и падением качества университетского образования, закрывающим путь в науку значительной части молодежи из российских регионов [Соколовский 2011];
- 6) резкое сокращение финансирования научных библиотек (четверть века назад они прекратили получать необходимые исследователям ведущие журналы, не говоря о научных книгах ведущих издательств, и по сию пору эта ситуация не улучшается) и нехватка современной научной литературы. Это препятствует нормальной интеграции российских исследователей в глобальный обмен научными знаниями и создает барьеры для эффективного участия в международном разделении труда. Оставаясь слабо осведомленными об особенностях текущей политики крупных научных издательств и журналов за рубе-

жом, наши ученые получают меньше шансов пробиться на их страницы [Соколовский 2009];

7) отсутствие даже в центральных академических институтах (из-за нехватки финансирования) доступа к полнотекстовым базам журнальных публикаций. При постоянно растущих ценах на отечественные научные журналы это означает самоизоляцию российских гуманитарных наук, рост разрыва в языках исследования и анализе между российскими исследователями и остальным научным миром и дальнейшее сокращение читательской аудитории российских научных журналов;

8) правовая неурегулированность финансирования полевых исследований, закупок оборудования и программного обеспечения;

9) недостаточная финансовая поддержка полевых этнографических и архивных исследований и избыточная бюрократизация связанной с ними отчетности;

10) несоответствие работы главного фонда, финансирующего гуманитарные исследования (РГНФ), международным стандартам. Это отсутствие анонимности при рассмотрении заявок, лоббирование, участие самих членов экспертных панелей в рассматриваемых конкурсных проектах в качестве руководителей и исполнителей, отсутствие открытых публикаций отчетов исполнителей, непрозрачность принципов формирования экспертных панелей и их ротации.

Мне представляется, что само описание проблем уже указывает на способы их решения:

- реформа университетского образования;
- иной уровень финансирования науки и инфраструктуры доступа к научной информации;
- создание дополнительного пенсионного фонда (возможно за счет отчислений от грантов) для обеспечения достойной пенсии ветеранам науки, что дало бы известную свободу при принятии кадровых решений и позволило бы резко омолодить корпус научных сотрудников;
- либерализация отчетности по грантам;
- реформирование деятельности фондов в сторону их соответствия международным стандартам (двойное анонимное рецензирование, тщательное расследование случаев лоббирования и нарушения анонимности с последующими санкциями в виде недопущения к участию в конкурсе на определенный период);

- целенаправленная работа по созданию новых рабочих мест и стимулированию потребностей в антропологическом знании (включая разработку соответствующих программ);
- диверсификация источников финансирования исследований;
- децентрализация науки за счет развития сети более мощных региональных исследовательских центров с достаточным финансированием;
- создание нового поколения учебников, проходящих экспертизу специалистов, а не чиновников из Министерства образования, уже издавших огромными тиражами серию бездарных компиляций;
- пропаганда антропологических знаний и целенаправленная работа по созданию позитивного образа дисциплины.

О достижениях российской социально-культурной антропологии говорить, на мой взгляд, пока рано, но можно перечислить некоторые успехи и положительные тенденции, которые наблюдаются в последние годы или всегда характеризовали нашу дисциплину. Сильными чертами этнографических исследований остается историзм и сохраняющаяся традиция междисциплинарного синтеза и сопоставления в ходе исторических реконструкций собственно этнографических данных со сведениями из лингвистики, археологии, истории, географии и демографии. За последние десятилетия возродились такие направления, как юридическая и политическая антропология, и оформляются новые: медицинская антропология и антропология организаций (см, например, [Романов 1999]), антропология науки и т.п.

В стране появилось несколько университетов, академических институтов (или отдельных факультетов, центров, отделов и лабораторий), где значительная часть из перечисленных выше проблем успешно решается. К таким центрам можно отнести Европейский университет (СПб), Смольный институт свободных искусств и наук при филологическом ф-те СПбГУ, ГУ ВШЭ («Вышку»), Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинку»), некоторые факультеты и центры РГГУ. Их опыт должен быть обобщен и распространен на всю систему академической и университетской науки в области социальных и гуманитарных исследований. Наконец, на порядок выросло число журналов, регулярно публикующих работы в области этнологии и социально-культурной антропологии и кафедр соответствующего профиля (об их работе см.: [Романов, Ярская-Смирнова 2011]), утверждены программы по подготовке бакалавров и магистров по специально-

4

сти «Этнология, антропология». Эти перемены позволяют надеяться, что вопреки наметившейся провинциализации и слишком медленному освоению новой проблематики дисциплинарное сообщество сохраняет некоторый потенциал для развития.

Продолжая отвечать на вопрос, сталкиваемся ли мы в случае отечественной антропологии с одним дисциплинарным сообществом или множеством таких сообществ, я имею основания утверждать, что сегодняшний день российской антропологии определяется деятельностью десятка лидеров и двух больших сообществ, консолидировавшихся вокруг двух различных проблемных полей, в центре одного из которых находятся проблемы власти и управления мультикультурным обществом, а другого — традиционная культура и ее современные трансформации. Поскольку я намерен развернуть этот тезис в отдельной статье для «АФ» и представить в ней соответствующие доказательства, я воздержусь от его развертывания в этих коротких ответах на поставленные редколлекцией журнала вопросы.

Библиография

- Бикбов А.Т.* Франция повторяет ошибки России (интервью) // Интернет-журнал Рабкор.ру. 17.08.2009 <<http://www.rabkor.ru/interview/3662.html>>.
- Гудков Л.Д.* Почему нет теоретической социологии в России? Конференция сообщества профессиональных социологов «Социология в кризисном пространстве страны и мира»: Материалы для обсуждения. 2009 (рукопись).
- Елфимов А.Л.* О дисциплине, авторитете и прочем // Антропологический форум. 2008. № 9. С. 82–90.
- Романов П.В.* Социальная антропология организаций. Саратов: Саратовский государственный технический университет, 1999.
- Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р.* Социальная антропология в поле высшего образования // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. 14. № 4. С. 144–163.
- Соколов М.М.* Проблема консолидации академического авторитета в постсоветской науке: случай социологии // Антропологический форум. 2008. № 9. С. 8–31.
- Соколов М.М.* Развивается ли социологическая теория после 1984 года? Доклад на круглом столе «Новые тенденции в развитии социологической теории». Институт гуманитарных историко-теоретических исследований ГУ ВШЭ. 2010.
- Соколовский С.В.* Российская антропология: иллюзия благополучия // Неприкосновенный запас. 2009. № 1 (63). С. 45–64.
- Соколовский С.В.* В цейтноте: заметки о состоянии российской антропологии: обзор // Laboratorium. 2011. № 2. С. 70–89.

- Miller D., Woodward S.* Manifesto for the Study of Denim // *Social Anthropology*. 2007. Vol. 15. No. 3. P. 335–351.
- Mills D.* *Difficult Folk: A Political History of Social Anthropology*. Oxford: Berghahn, 2008.
- Oakeshott M.* *The Voice of Liberal Learning*. New Haven, CT: Yale Univ. Press, 1989.

ИОАХИМ ОТТО ХАБЕК

Я хорошо помню выход первого номера «Антропологического форума» и опубликованную там дискуссию о современных тенденциях в антропологических исследованиях. Приглашение высказать свои соображения о том, как развивалась антропология Сибири на протяжении последних десяти лет, является для меня честью и радостью.

Редколлегия предложила нам вопросы, на которые я отвечу в обратном порядке.

Что касается региона, методов и подходов моей полевой работы, то они весьма ощути-мо поменялись за последние десять лет — вследствие личных и институциональных причин. На раннем этапе объектом моих исследований являлись оленеводческие сообщества на севере республики Коми и в прилегающем Ненецком автономном округе [Habeck 2005; Хабек 2006]. Личной причиной, заставившей меня покинуть этот регион, была смесь раздражения, вызванного местными спецслужбами, и понимания того, что мое присутствие в деревнях Коми может вызвать дискомфорт или ненужные проблемы у местных жителей. Кроме того, поскольку я был координатором Центра сибирских исследований, имело смысл проводить полевую работу собственно в Сибири. Новосибирск и окрестности стали моим исследовательским регионом в 2005 г.; музыкальная сцена, культурное многообразие, а чуть позже и Дом культуры стали новыми объектами исследования [Хабек 2007]. Мои коллеги согласились совместно реализовать сравнительный исследовательский проект

Иоахим Отто Хабек
(**Joachim Otto Habeck**)

Институт социальной антропологии,
Гамбургский университет,
Германия
habeck@eth.mpg.de

о социальном значении Дома культуры, что, кроме всего прочего, означало использование новых методов и исследовательского инструментария, которые мы выработали совместно, прежде чем отправиться в наши поля [Donahoe et al. 2011].

Начиная с 2008 г. я проводил второй сравнительный исследовательский проект, на этот раз о жизненных стилях Сибири, результаты которого вскоре будут опубликованы. Оба эти проекта означали сдвиг от того, что можно обозначить как классические этнографические исследования разных сибирских этнических групп (ценность этих работ, конечно, нельзя преуменьшать), в сторону социологии. Этот сдвиг осуществлялся по разным направлениям: методология, содержание исследования, корпус работ, на которые опирались мы с коллегами, а также те научные дебаты, в которых мы хотели участвовать своими проектами. Я полагаю, что антропологические исследования Сибири могут многое почерпнуть у социологической теории и этим расширить свою базу знаний и свою социальную значимость, особенно в таких областях, как процесс интеграции разных групп в сообщество или исключения из него, идентичность и неравенство, индивидуальные устремления и коллективные проекты.

С методологической точки зрения, долгосрочное пребывание в каком-то определенном месте и включенное наблюдение остаются основными активами этнографического исследования. В 1990-е гг. эта «индивидуальная» исследовательская модель личного погружения в духе Малиновского постепенно приобрела популярность, отчасти потеснив прежний *экспедиционный* тип полевой работы. Однако в самое последнее время можно наблюдать еще один сдвиг: поскольку интернет и мобильная телефония на сегодняшний день широко доступны, полевая работа не заканчивается с отъездом исследователя — нередко она превращается в постоянное общение.

Очень ощутимо, мне кажется, изменились авторы и аудитория. Это подводит меня к третьему вопросу — о взаимоотношениях академии и остального мира. «Местные» (сибирские) жители не в меньшей степени, чем исследователи, способны выйти к широкой аудитории. Многие мои собеседники в Новосибирске и других местах Сибири лучше меня соображают, когда речь идет о смартфонах и сетевой коммуникации. Некоторые из них делают свои автопрезентации в сетевом пространстве, умело участвуя в глобальном информационном обмене. Физическая мобильность в целом тоже возросла, в том числе через границы между государствами (см. ниже).

Так есть ли у профессии антрополога все еще какая-то специфика? Вероятно, единственная область, которая пока сохраня-

ет свою исключительность, — это сфера научного письма. Здесь перемены были относительно медленными. В том, что касается конвенций научного письма, практики публикации на основе внутреннего рецензирования, а также критериев оценки научных достижений, я не вижу крупных изменений в социальной антропологии за последние десять лет, несмотря на создание онлайн-версий многих журналов (о новом подходе см.: [Da Col, Graeber 2011: ix]). Это делает академические публикации (и целые издательские форматы) до некоторой степени непривлекательными для общества в целом, что, в свою очередь, является одной из причин отставания социальной антропологии от многочисленных социальных перемен. Эта критика, конечно, не нова; и напротив, можно ведь сказать, что дистанция автора по отношению к своему объекту, возникающая благодаря академическим конвенциям, а также, как правило, длительный характер публикационного процесса в определенной мере оказываются благоприятными факторами, поскольку способствуют тому, что работа приобретает сбалансированность и значимость. Однако традиционное академическое письмо остается в значительной степени текстуально ориентированным и суховатым. По контрасту, интересным примером того, как антропологическое исследование напрямую получает отклик в сети, став доступным для быстрого использования и обсуждения, является блог, который ведет Антропологическая исследовательская группа при Арктическом центре в Рованиеми в Финляндии (см.: <<http://arcticanthropology.org/>>).

Что касается места антропологии в ряду научных дисциплин, Сибирь кажется поделенной на две части, каждая из которых обладает собственной дисциплинарной конфигурацией. Антропологи, работающие в северной части Сибири, тундре и лесотундровом регионе, получают все больше и больше внимания, поскольку их исследовательская деятельность воспринимается в ракурсе изменения климата (например, [Crate 2008]), и одновременно все основательнее оказываются поглощенными этими проблемами и соответствующим дискурсом, который активно опирается на экосистемные понятия, такие как незащищенность и гибкость. Очень важным достижением является растущее (и в последнее время искреннее) признание вклада социальных наук среди наших коллег, работающих в сфере наук естественных. На этих основаниях кооперация с науками о жизни и окружающей среде стала масштабнее и продуктивнее [Forbes, Stammler 2009; Walker et al. 2006].

Антропологи в южной части Сибири, в больших городах по Транссибу и южном поясе республик (Алтай, Тува, Хакасия, Бурятия), также иногда работают совместно со специалистами по естественным наукам, и для этого, конечно, есть уважитель-

ные причины. Однако здесь я вижу несколько более сильную тенденцию сохранять сотрудничество с историками, политологами, религиоведами и т.д., что представляется отражением классической, «востоковедческой» научной ориентации. Во всяком случае, долговременный интерес к противопоставлению «традиционного» и «современного» в жизни коренных народов уступает место гораздо более многогранным и живым описаниям в российских научных журналах (см.: [Функ 2013]).

Сибирь часто сравнивают с прилегающими регионами, или с приполярным Севером, или с соседними регионами Азии, особенно с Центральной Азией, Монголией и Китаем. Связи и обмена с соседними регионами изучаются в последние несколько лет все больше. Укажем лишь некоторых авторов, пишущих о китайской миграции в Сибирь: [Восток России 2011: 267–319; Dyatlov 2007; Haglanova 2011; Rabogoshvili 2012; Safonova, Sántha 2010]. Все еще небольшим, пусть и растущим, остается число проектов и публикаций, в которых проводятся сопоставления между Сибирью и регионами Глобального Юга (см., например, [Ulturgasheva et al. 2012]), хотя на такие исследования есть очевидный спрос, возникающий благодаря общему опыту (пост)колониальной ситуации.

Это подводит меня к ответу на второй вопрос о том, что объединяет или разобщает сообщество исследователей и студентов. Это сообщество все еще составляют люди, живущие в России, европейских странах, Северной Америке и Японии. До настоящего времени антропологов из Индии, Китая или Мексики в Сибири, например, было мало, итоги их исследований пока публикуются редко (заметные исключения: [Chatterjee et al. 2009; Евразия 2007]). Это отражает старые колониальные связи и асимметричные отношения в продуцировании научного знания.

Если говорить об асимметриях прошлых лет (между научными сотрудниками из России и Запада), этот разрыв постепенно стал менее ощутимым по трем причинам. Во-первых, на сегодняшний день в России существует несколько университетов и научно-исследовательских институтов, у которых имеются средства для финансирования полевой работы; во-вторых, языковой барьер сегодня является меньшим препятствием, чем это было ранее; в-третьих, коммуникация стала шире, т.е. мы гораздо шире обсуждаем теорию и результаты исследования.

Особенно заслуживают внимания, если исходить из моего собственного опыта, приглашения западных ученых с тем, чтобы они представили свои исследования по-русски, как было в случае конференции «Русское поле» в 2009 г. в Петербурге

(см.: [Bogdanova, Gabowitsch 2011; Кормина 2009]) и на IX Международной конференции «Сибирские чтения» в этом же городе в 2013 г. Подобные форматы помогают выстроить равенство между партнерами по исследовательской работе и поставить под сомнение представление о том, что полевая работа должна делаться по-русски или на местном языке, тогда как научная дискуссия должна проходить по-английски.

Я полагаю, что ученые России и Запада на сегодняшний день все более нацелены на взаимопонимание, способны понять друг друга и добиваются этого, но меня беспокоит разочарование России в Западе, а также не менее разочарованное отношение западных средств массовой информации и широкой публики к России. Конечно, обширные контакты и визиты — явление нередкое, они составляют часть гораздо более широкого обмена, а именно постоянного и многообразного потока людей, курсирующих между Россией и другими странами, будь то туристы, люди, едущие на работу, или постоянные жители. Существует устойчивый интерес к Сибири у иностранцев, а также растущий интерес сибиряков к путешествиям в Северную Америку, Китай и Европу. Тем не менее этот интерес оказался подпорченным старыми и новыми стереотипами.

Что касается западной стороны, следует сказать, что Россия почему-то продолжает восприниматься большинством как нечто «отстающее» и «чужое» (наш научный проект о многообразии жизненных стилей может бросить вызов подобным стереотипам). Что до России, то разочарование, а подчас и откровенное недоверие проистекают из подчеркнуто консервативного поворота широких слоев российского общества. Таков мой ответ на первый вопрос, заданный редколлегией, о наиболее важных переменах в регионе и науке, поскольку это отчуждение обладает отчетливыми отзвуками в условиях полевой работы не только в регионах, подчиняющихся режиму «погранзоны», но и в других частях России. Порой подозрительность и недоверие среди чиновников, педагогов и «обычных людей» кажутся столь велики, что я начинаю опасаться, не придется ли мне через какое-то время, как это уже однажды случилось, поменять исследуемое поле по причинам, сходным с теми, которые заставили меня выехать из региона моей прежней полевой работы. Тем не менее интерес и дружба сильнее разочарования, а новые увлечения могут ждать нас за ближайшим углом.

Библиография

Восток России: миграции и диаспоры в переселенческом обществе (рубежи XIX–XX и XX–XXI веков) / Отв. ред. В.И. Дятлов. Иркутск: Оттиск, 2011.

- Евразия: региональные перспективы / Отв. ред. Е.Г. Водичев. Новосибирск: Сиб. науч. изд-во, 2007.
- Кормина Ж.В.* Русское поле: взгляд из-за рубежа // Антропологический форум. 2009. № 11 Online. <http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/011online/11_online_08_kormina.pdf>.
- Функ Д.А.* Современные «традиционные» культуры народов Севера // Этнографическое обозрение. 2013. № 2. С. 3–5.
- Хабек Й.О.* Гендер, «культура», северные просторы // Этнографическое обозрение. 2006. № 4. С. 59–68.
- Хабек Й.О.* Роль домов культуры в трансляции этничности // Этносоциальные процессы в Сибири / Отв. ред. Ю.В. Попков. Новосибирск: Сиб. науч. изд-во, 2007. Вып. 8. С. 63–66.
- Bogdanova E., Gabowitsch M.* The Russian Field: Views from Abroad. Introduction // *Laboratorium*. 2011. No. 1. P. 5–13.
- Chatterjee S., Sengupta A., Bhattacharya S.* (eds.). *Asiatic Russia: Partnerships and Communities in Eurasia*. Delhi: Shipra, 2009.
- Crate S.* Gone the Bull of Winter? Grappling with the Cultural Implications of and Anthropology's Role(s) in Global Climate Change // *Current Anthropology*. 2008. Vol. 49. No. 4. P. 569–595.
- Da Col G., Graeber D.* Foreword: the Return of Ethnographic Theory // *HAU: Journal of Ethnographic Theory*. 2011. Vol. 1. No. 1. P. vi–xxxv. <<http://www.haujournal.org/index.php/hau/article/viewFile/45/50>> (accessed 15 January 2014).
- Donahoe B., Habeck J.O., Halemba A., Istomin K.V., Sántha I., Vaté V.* Research Design and Methodology of the Comparative Research Project “The Social Significance of the House of Culture” // *B. Donahoe, J.O. Habeck* (eds.). *Reconstructing the House of Culture: Community, Self, and the Makings of Culture in Russia and Beyond*. N.Y.: Berghahn, 2011. P. 277–291.
- Dyatlov V.* Transborder Migrants and Russian Society: Strategies and Practices of Mutual Adaptation // *Siberia in Focus: Proceedings of the Conference “Eurasia: Regional Perspectives”, June 2–3, 2007*, Novosibirsk. Kolkata: Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, 2007. P. 80–92.
- Forbes B.C., Stammler F.* Arctic Climate Change Discourse: the Contrasting Politics of Research Agendas in the West and Russia // *Polar Research*. 2009. Vol. 28. No. 1. P. 28–42.
- Habeck J.O.* What It Means to Be a Herdsman: the Practice and Image of Reindeer Husbandry among the Komi of Northern Russia. Münster: LIT, 2005.
- Haglanova O.A.* Chinese Labour Migration in the Context of a Buryat Village // *Inner Asia*. 2011. Vol. 13. No. 2. P. 297–313.
- Rabogoshvili A.* Chinese Migration to Russia as Revealed by Narratives in Chinese Cyberspace // *Journal of Current Chinese Affairs*. 2012. Vol. 41. No. 2. P. 9–36. <<http://hup.sub.uni-hamburg.de/giga/jcca/article/view/526/524>> (accessed 15 January 2014).
- Safonova T., Sántha I.* Being Local Outsiders: A Study of Chinese Ethos in East Siberia // *Inner Asia*. 2010. Vol. 12. No. 2. P. 347–364.

Ulturgasheva O., Grotti V.E., Brightman M. Personhood and “Frontier” in Contemporary Amazonia and Siberia // *Laboratorium*. 2010. Vol. 2. No. 2. P. 348–365.

Walker T.R., Habeck J.O., Karjalainen T.P., Virtanen T., Solovieva N., Jones V., Kuhry P., Ponomarev V.I., Mikkola K., Nikula A., Patova E., Crittenden P.D., Young S.D., Ingold T. Perceived and Measured Levels of Environmental Pollution: Interdisciplinary Research in the Subarctic Lowlands of Northeast European Russia // *Ambio*. 2006. Vol. 35. No. 5. P. 220–228.

Пер. с англ. Аркадия Блумбаума

НИКОЛАС ХАРНИ

Этнография в эпоху неуверенности¹

За последние десять лет, в связи с «антитеррористической войной» миграция из одной страны в другую все сильнее и сильнее сопровождается «моральной паникой» во многих индустриальных странах, а также умножением форм безопасности и контроля над не гражданами, пытающимися попасть на территорию этих стран. В то время как динамика этих мер безопасности и исключения становилась более интенсивной, в мировой экономике происходили глубокие изменения. Вспомните: несмотря на масштабные, знаменитые неудачи вроде “Enron” и “Global Crossing”, а также медленный рост после «пузыря доткомов» в начале тысячелетия, 2004 и 2005 гг. рассматривались как годы стабильности для глобальной экономики. Мировую экономику подпитывали энергетический сектор, добыча ресурсов, возникновение БРИКС, облегченная система получения потребительских кредитов и в целом быстрое расширение финансовых услуг в глобальном масштабе [United Nations 2004]. Мало кто предсказывал перемены, которые произошли в 2008–2009 гг. из-за финансового и банковского

Николас Харни (Nicholas Harney)

Университет Западной
Австралии, Перт,
Австралия
nicholas.harney@uwa.edu.au

¹ Данное исследование стало возможным благодаря годовому отпуску, полученному в Университете Западной Австралии, ARC DP130104666, а также всем мигрантам и неаполитанцам, которые согласились поучаствовать в интервью. Особо мне хотелось бы поблагодарить Катриону Келли за приглашение в «Форум» и ее полезные замечания. За все ошибки отвечает автор.

кризиса, перевернувшего многие сегменты мировой экономики и социополитическую реальность и вызвавшего затяжной и болезненный глобальный обвал экономики.

Антропологи, пытаясь осознать идеологические и структурные перемены последних десяти лет, сталкиваются с этими, как кажется, эпохальными сдвигами, которые претерпели капитализм, формы исключения, управление и технологии, — сдвигами, которые бросают вызов представлениям нашей дисциплины о социальных отношениях, субъектности и нашем предмете исследования. Учет этих изменений — это не только вопрос построения концептуальных моделей, которые могли бы как-то ухватить быстро меняющиеся обстоятельства, но и вопрос метода. В научной традиции, основанной на методологическом подходе, который делает упор на локальное, эмпирическое исследование, проводимое в определенном «месте», и который широко известен как этнография, антропологам пришлось понять, как осмыслить «глобальное в самом сердце локального», тогда как интимность локального, где в основном происходило порождение антропологического знания, казалось, должна была исчезнуть ([Herzfeld 2003: 2; Appadurai 1997: 115]; см. также: [Comaroff, Comaroff 2003]).

В этом контексте вскоре после моей статьи в «Форуме» я начал новое полевое исследование в Неаполе, среди нелегальных мигрантов. В статье 2004 г., опубликованной в «Антропологическом форуме», я хотел проследить, как транснациональные связи послевоенных итальянцев усложняют концепт диаспоры, как они формируют идентичность и порождают формы национальной принадлежности. Новое исследование в Неаполе связано с моими размышлениями о том, что изучение миграции и мигрантов должно обращаться к более масштабным структурным изменениям, о которых было прямо сказано выше. Учитывая, что большое число исследований миграции финансируется государством и нацелено на непосредственный политический результат, я полагаю, что авторы работ по миграции недостаточно пользовались возможностью обратиться к более общим следствиям феномена мобильных людей для масштабных проблем современности. Помещая мигрантов в контекст определенной политики, ученые, пусть и ненамеренно, усугубляют маргинализацию и исключенность, с которыми сталкиваются мигранты на их новой родине; эти авторы и тексты описывают мигрантов как пассивных акторов перед лицом глобальных изменений в экономической жизни, политике и культуре.

На протяжении двух последних десятилетий антропологи стремились выработать методологические позиции, адекватные интенсивно глобализующемуся миру, который требует альтер-

нативных способов понимания предположительно универсальных форм, социальных отношений, протянутых сквозь пространство и время, интересов и структур, стоящих за ними, а также изучения таких неорганических технических форм, как интернет и компьютеризированные дистанционные финансовые инструменты. Даже если существует острая необходимость понять структурные и системные формы продуцирования знания, которые стремятся структурировать наши способы мышления, материальные возможности и надежды на будущее, я полагаю, что мы все еще должны практиковать антропологическую полевую методику исследования в местах непосредственного взаимодействия.

Для того чтобы попытаться ухватить «глобальное внутри локального», я строю свое исследование миграции в Неаполе вокруг распространения и практики современных корпоративных форм мышления и управления, циркулирующих во всем мире через дискурсы и практики неправительственных, международных организаций и корпораций. В этой работе используются интереснейшие идеи Фергюсона и Гупты [2002] о транснациональной системе управления; исследование исходит из их понимания метафор «вертикальности» и «огораживания», относящихся к присутствию государства. Под управлением я имею в виду разворачивающийся глобальный политический проект, в котором социальные проблемы все больше и больше деполитизируются ради технического, построенного на менеджменте решения тех же самых проблем. Пьер [2000: 3–4] говорит об управлении как «устойчивой координации и связности у множества акторов с различными целями и задачами, таких как политические акторы и институции, корпоративные интересы, гражданское общество и транснациональные правительства». Особый стиль принятия политических решений в неолиберальных режимах, исходя из рыночной идеологии, ставит пределы действиям государства и его контролю и вдохновляет новый публичный менеджмент.

Следуя Фергюсону [1994], Ли [2007] отмечает, что управление требует одновременно «проблематизации» и превращения проблемы — для ее разрешения — в техническую. Вот почему оно стремится «деполитизировать» способ управления и по этой причине редуцирует демократическую подотчетность. В общем, распространение «универсализирующих» форм дискурса и практики менеджмента является частью неолиберального проекта экономической и политической глобализации, который обретает такие характерные особенности, как фискальная дисциплина, урезание правительственных расходов, отмена госрегуляции труда, финансовые спекуляции, открытые рынки и приватизация.

Антропологи не зря обращали внимание на сильные и насильственные реконфигурации государственных практик контроля, надзора и менеджмента, на отмеченные расовыми стереотипами формы исключения, свойственные неолиберальной системе управления, и на иерархические формы гражданства, которые эти практики создают [DeGenova, Peutz 2010; Feldman 2012; Fassin 2011; Agamben 1998]. Тем не менее существуют неолиберальные следствия помимо юридических и новой секурократии (*securitas*), с их протяженными сетями разных форм обеспечения безопасности, которые увеличивают административный контроль над обществом. Эти юридические формы структурируют жизненные миры мигрантов и неаполитанцев, но я в своем полевом исследовании настаиваю на более широком истолковании того, как локализуются универсальные формы неолиберальной системы управления.

На протяжении столетия Южная Италия была источником одного из самых масштабных перемещений людей и творческой энергии. Портовый город Неаполь, расположенный в провинции Кампания, был не только источником множества мигрантов, но и перевалочным пунктом сотен тысяч мигрантов из южных регионов Италии в конце XIX в. и после 1945 г. Ранняя эмиграция была частью экспансии индустриализирующейся атлантической экономики, вместе с ростом индустриального капитализма и модернистскими нарративами строительства нации в Америках и Северной Европе. Более чем через столетие после начала великих миграций и через четверть века после того, как эмиграция стала меньше, а новые мигранты из стран, не входящих в Евросоюз, превратили полуостров в страну, принимающую мигрантов, в 2004–2013 гг. я проводил двадцатимесячное полевое исследование в Неаполе и его окрестностях. Я хотел собрать материал о новой миграции в Неаполь и его окрестности, стремясь понять, как опыт и квалифицированный труд этих новых мигрантов могут помочь нам найти критический инструментарий для понимания трансформации глобальной экономики, увиденной через призму пространственно-временных перспектив, которые дают представленные в этом городе типы мобильности.

Этнографическая полевая работа в Неаполе заставляет исследователя задать вопрос о том, что значит изучать теневую экономику, когда не теневой экономики, как кажется, нет, и что значит «плохо управляться» там, где «управление», если следовать его характеристике исследователями неолиберализма, кажется скорее недостаточным, чем сильным, скорее воображаемой возможностью, чем ожидаемой формой.

В данном контексте опыт полевой работы заставил меня проанализировать концептуальную тематику квалифицированного труда и экономики, практики аудита, корпоративной социальной ответственности и предпринимательства в свете отмеченного расовыми и гендерными стереотипами опыта мигрантов. Неаполь — это город, который ставит вопросы о дискурсах модерна, традиции, стереотипах и овеществлениях. Люди, с которыми я работал, прибегают к этим доминирующим репрезентациям Неаполя, чтобы понять свое место в воображаемом контексте глобализации. На фоне этой формы управления, я пытаюсь проследить творческие формы практик знания (интимного, аффективного и опытного), которое используют мигранты для выживания в своем неопределенном состоянии.

Вальтер Беньямин [1979] описывал Неаполь как «пористый город», который вбирает изменения, движения и пространственно-временную многослойность, место возможности и импровизации. Его пористость является одновременно материальной и семиотической. Несмотря на асимметрию в балансе между притоком и утечкой мигрантов, из провинции Кампания, где самый низкий ВВП на душу населения в Италии, люди все еще уезжают в поисках работы. Экзистенциальные надежды этих двух типов мобильности встречаются друг с другом в этнографическом исследовании. Официальную статистику следует скорректировать с помощью масштабной, динамичной и эксплуататорской подпольной экономики Неаполя — экономики, которая притягивает неаполитанцев и мигрантов, ищущих нелегальную работу, чтобы заработать деньги, нужные для передвижения на север полуострова и далее на континент. Импровизационная возможность подпольной экономики ставит мою этнографическую работу в ряд исследований квалифицированного труда и творческой экономики, поскольку я следую за нелегальными мигрантами в их путешествии по зыбкому пространству нового для них города — путешествии для того, чтобы выжить и сохранить надежду на будущее.

Социальное движение недовольных европейцев, оказавшихся перед лицом ограниченных экономических перспектив Европы в ситуации режима экономии и сокращения социальных гарантий, обозначают как неопределенность (*precarity*). Между тем потенциал этого понятия как способа концептуализации особых обстоятельств мигрантов на «периферии» Европы (концептуальная география неравенства и вместе с тем мощная система координат, которая структурирует жизнь людей в Неаполе) еще предстоит исследовать. Ситуация мигранта в Неаполе является неопределенностью внутри неопределенности. Неопределенность для европейских граждан означает способ существования в мире гибких, временных контрактов, сокра-

щения господдержки и дифференцированных форм исключения, однако для мигрантов такая неопределенность переживается в геометрической прогрессии. Неравенство и неопределенность ситуации усугубляются именно теми универсальными ценностями, которые якобы должны оказывать в такой ситуации помощь.

Квалифицированный труд, аудит и корпоративная социальная ответственность — попытки представить себе финансовое будущее¹

Лиссабонская повестка дня, объявленная в 2000 г. Европейским союзом, задала амбициозную задачу: к 2010 г. ЕС должен стать «наиболее конкурентоспособной и динамичной, построенной на квалифицированном труде экономикой в мире». Однако нацелена эта задача была не на тысячи мигрантов, тайно и нелегально проникающих в европейское пространство. Всего несколько лет назад демографический вес нелегальных мигрантов (не европейцев) только в Италии стал отчетливо заметным. Как часть иммигрантского законодательства «Босси-Фини» 2002 г. (Закон № 189) была предложена амнистия нелегальным (без документов) мигрантам, уже находящимся в Италии (и у которых есть подтверждение легального прибытия в страну). В результате итальянское правительство амнистировало чуть менее 700 000 мигрантов!

Экзистенциальный опыт мигрантов в Неаполе и их способы выживания позволяют критически взглянуть на универсальное понятие квалифицированного труда, якобы предполагающее отбор и исключение. Оно ограничивает миграционные визы только высокообразованными претендентами и служит для получения виз и гражданства, а также является шибболетом «свободы передвижения» через границы, которые на практике все больше и больше становятся объектом контроля и безопасности.

Как мигранты справляются в этой неустойчивой ситуации? На знание как форму товара обращали большое внимание, а на слухи, важнейший педагогический механизм, используемый мигрантами, — гораздо меньше [Harney 2006]. Слухи интерпретировались одними учеными как способ укрепления общества, другими — как попытка продвижения личных интересов тех, кто заставляет циркулировать эти слухи. Слух

¹ В целом корпоративная социальная ответственность означает бизнес-стратегию и попытки саморегулирования, предпринимаемые корпорациями для того, чтобы сделать свои бизнес-практики не противоречащими общественным и международным этическим стандартам, экологической устойчивости и качеству жизни работников (см.: [Blowfield, Frynas 2005]).

рассматривается как коммуникативный прием, который предлагает информацию или новости для оценки; он является основным средством распространения информации во всех экономиках [Allport Postman 1947; Stewart, Strathern 2004].

Здесь, в Неаполе, мигранты используют информацию, циркулирующую посредством слухов, для того чтобы представлять себе свои возможности движения в Италии в целом, а более конкретно — условия для ведения предпринимательства, доступные тем, кто занят неофициальной экономической деятельностью. Эти слухи выходят за пределы ограниченной группы, рассматриваемой как расовая, обладая значимостью для более широких социальных пространств. В данном случае как субъективные репрезентации экономического поведения эти слухи предлагают типы предпринимательской деятельности: ими восхищаются, им подражают, их критикуют или стараются их избегать.

Мой этнографический материал подсказывает, что больше внимания следует уделять тому, как субъективное понимание стимулирует социальное действие — это субъективное понимание, представленное через использование слухов как разновидности знания, которое необходимо оценить и истолковать, чтобы сформировать основу для принятия решений относительно экономического поведения среди мигрантов в Неаполе.

В своей работе я пытаюсь исследовать знание, используемое мигрантами в их попытках выжить. Существует форма специализированного знания, которое вырабатывается среди мигрантов. Мигрантские межкультурные посредники действуют как квалифицированные работники и брокеры в рамках неформальной экономики южной Италии. Их присутствие требует нового взгляда на тех, кого мы можем назвать квалифицированными работниками, и переоценки того, каким образом знание и его распространение оказываются неотделимы от власти. Я изучаю связи между знанием, предпринимательской деятельностью мигрантов, находящихся в ситуации неопределенности, их изобретениями в сфере самоидентификации, а также ограничениями, с которыми они сталкиваются в городе из-за институций и итальянских граждан. Мигрантам приходится иметь дело с представлениями о них как об эмблемах своих культур, с мнимыми свидетельствами социальных проблем и экономической нестабильности, которые влечет миграция, причем их быт всегда воспринимается как характерный для некоего недифференцированного «мигрантного» существования. На них смотрят как на источник инноваций и экономического возрождения и вместе с тем как на свидетельство значимости все еще теневой экономики юга Италии.

Формализованный дискурс «знания-экономики», пропущенный через менеджерскую систему координат, отторгает знание от власти, людей и опыта благодаря фокусу на умениях и измерениях. Не лишено иронии, что само это положение подрывает именно ценность знания как ситуационного, опытного и аффективного. Как отметил Аккьяйоли [1981: 23], «знание, пусть интересное, не может быть незаинтересованным».

Мигранты, которых я опрашивал, работающие как межкультурные посредники для итальянских государственных агентств или некоммерческих общественных компаний, вполне понимают, что их полезное знание функционирует в рамках властных институций. В положении брокеров, предоставляющих «экспертное» знание как для итальянского государства, так и для мигрантов, их едва ли когда-нибудь описывали как квалифицированных работников. Тем не менее абстрактное мышление и решение проблем — как описывают бизнес-консультанты и руководства по менеджменту квалифицированный труд — являются главными в их деле. Основываясь на опытном знании, полученном через повседневные взаимодействия с итальянским государством, будучи отмеченными расовыми стереотипами, они выстраивают равновесие в сложном политическом пространстве посредников между неравными группами (см.: [Gluckman 1949]). Их работа требует, чтобы они делали доступным свое контекстуальное, опытное, социальное или неформальное знание, чтобы получить легитимность у мигрантов, которых консультируют, и итальянских агентств, заинтересованных в их контекстуальном знании для решения проблем.

Развиваясь этнографически в сторону от опытного квалифицированного знания этих мигрантов, мои интересы начали сдвигаться к неаполитанским институциям. Каким образом универсализующие формы менеджерского мышления, возникшие в результате судорожного политического реформирования итальянского государства в эпоху после 1989 г. и целого ряда требований европейской интеграции и стандартов, проявляют себя через реальные институции, нацеленные на организацию повседневной реальности южной Италии и действующие в рамках этой реальности? Ключевой частью моей полевой работы стало время, которое я провел как этнограф и волонтер с людьми в неаполитанской транзитной компании; я наблюдал, как они вырабатывали современные практики знания и формы менеджмента. Реформированная в рамках смены форм управления в Неаполе в 1990-е гг., эта транзитная компания приняла на вооружение в своих операциях и менеджменте «наилучшие практики», стремясь к стандартам Международной организации по стандартизации, по мере ухода от

институциональной формы, где доминировали традиционные патронажные сети, в сторону модели общественного / частного предприятия¹. Я изучал практики местного неолиберального управления и разрывы, которые возникают между универсализующими квалифицированными практиками менеджмента и местными вызовами формам управления.

Например, я обследовал социализацию неаполитанцев и мигрантов в рамках деятельности, направленной на межкультурное посредничество и предполагающей интенсивный квалифицированный труд. Я участвовал в интенсивной двухнедельной сессии для межкультурных посредников, присоединившись к проекту местной транзитной компании, призванному помочь в разрешении их рабочих проблем. Обучение было частью «наилучшей практики», которая распространяется в системе неолиберального корпоративного управления по публичным и частным секторам для поощрения у работников инициативы и умения управлять собой, чтобы они пользовались своими эмоциональными аффективными ресурсами для улучшения своего рабочего пространства. Дни обучения, организованные транзитной компанией для своих работников, были заполнены разными занятиями и ожиданиями от проекта. Эти сессии рассматривались менеджментом и нанятым преподавателем из «Каритас», католического агентства по социальной работе, как важнейшие для социализации участвовавших в них людей и «смешанных команд», которые должны были идти на линию для работы напрямую с пассажирами. Однако работники ощущали большую неопределенность относительно решения этих проблем; они довольно сдержанно (по-беняминовски) говорили о возможности внести коррективы в поведение неаполитанцев. На практическом уровне мигранты-посредники требовали рабочие места, чтобы обновить свои визы (свидетельство того, что у них есть работа); на интеллектуальном уровне было заметно их стремление просветить товарищей-мигрантов относительно сложной для мигрантов итальянской реальности.

Менеджерское исследование африканских мигрантов в Неаполе иногда показывало неожиданные вещи на фоне социальной и экономической ситуации африканских мигрантов, занятых в подпольной экономике города. На практике социальный аудит, который изначально подавался как попытка «мониторить» и контролировать мелкие преступления, главным образом

¹ Международная организация по стандартизации является сетью национальных организаций, которая выстраивает международные стандарты через решения на основе консенсуса по поводу продуктов и услуг; эти стандарты компании могут по своему усмотрению использовать как системы измерений и индикаторов для своих товаров, услуг и практик (см.: <<http://www.iso.org/iso/home/about.htm>>).

безбилетный проезд, открыл мигрантам еще кое-что. Аудит породил избыток знания о жизни и траекториях африканских мигрантов, который выходил за пределы процедурных задач. Как оказалось, у африканских и украинских мигрантов, как правило, есть билеты, однако пока у них их не требуют, они их не подтверждают, экономя таким образом кучу денег. Не лишено иронии, что сотрудники транзитной компании обнаружили, что билетов нет главным образом у пассажиров-неаполитанцев. Стремление компании выработать у мигрантов привычку подтверждать билеты или покупать месячные проездные, что дает значительную экономию, столкнулось с еще большими трудностями. Оказалось, что многие мигранты не очень долго остаются в неаполитанском регионе. Становясь, с точки зрения транзитной компании, «интегрированными», мигранты исчезают, и на автобусных маршрутах появляются новые лица. Мигранты уезжают на север, в более богатые регионы Италии и Европы. Прибывших новичков нужно снова «инструментировать». Производя аудит, посредники получили важное знание о неформальной экономике в неаполитанском регионе и денежных переводах, посылаемых в Африку.

В процессе проведения социального аудита и исследования мигрантов местная компания, которую я изучал, пришла к выводу, что аудит просто недостаточно охватывает «бизнес-условия», и менеджмент решил использовать другую систему координат, которая уже стала общепринятой — корпоративную социальную ответственность. Менеджмент стал использовать эту «универсальную» нелиберальную форму технического управления в неаполитанском регионе, чтобы помочь «интеграции» мигрантов. Ожидания «универсального» стандарта одновременно у неаполитанских менеджеров и мигрантов следует истолковывать с учетом местных условий. О городе местные и не местные комментаторы постоянно говорят как о находящемся «в состоянии кризиса», будь то из-за организованной преступности, социальной и культурной неуступчивости, политической коррупции или экономических потерь. Все еще существующее историческое неравенство между севером и югом Италии и связанные с этим доминирующие культурные репрезентации модерности, домодерности, преступления, коррупции структурируют столкновение легальных и нелегальных мигрантов в Неаполе с «Европой». Эти обстоятельства также влияют на то, что неаполитанцы в компании думают о проекте.

Вместо того чтобы интерпретировать проект транзитной компании как лишь еще одну версию корпоративной социальной ответственности, форму приватизации того, что некогда входило в сферу государственной ответственности, и одновременного развития корпорациями новых мест — источников прибы-

ли, я считаю полезным вернуться к более старым социологическим идеям. Неаполь столкнулся с масштабными проблемами в сфере управления, и пока неолиберальный язык вдохновлял некоторые из менеджерских идей, от информантов можно было услышать призыв к гораздо более приземленному, но не менее важному идеалу. Они стремились к подобию веберовской [Weber 1978] идеи этического государства (не «железной клетки»), с правилами и определенностью, смешанной с пониманием социальности Зиммеля [Simmel, Hughes 1949], с желанием равенства в социальных отношениях.

Пористый город? С этой точки зрения, Неаполь впитывает всех, кто попадает на его территорию, как вулканический камень, который поддерживает основание города. Бенджамин переносит физические свойства на культуру и указывает, что город, за плечами которого века вторжений, имперской власти и миграций, все еще ищет способы справиться с новым вторжением и встроить его в ритмы места. Мой этнографический проект, если угодно, нацелен на изучение двух из таких вторжений — людей (мигрантов) и идей (неолиберальная форма управления). Формы неолиберального мышления претендуют на то, чтобы быть воплощением «наилучших практик». Аналогичным является современное (неомодернистское) стремление к усовершенствованию квалифицированного менеджмента и навыков; предполагается, что мы уже свободны от всех ограничений и контекстов и сумеем как следует использовать возможности, которые дает нам экономика, построенная на квалифицированном труде. В Неаполе всем этим очевидностям брошен вызов одновременно неформальной экономикой и социальными отношениями, которые структурируют повседневную жизнь города, и неуверенностью, свойственной мобильности.

Как этнограф я пытался ухватить интимный характер исследуемого места (забитый автобус, угол улицы, офис), чтобы вызвать в воображении романтический эмпиризм включенного наблюдения, и в то же время я должен был думать об абстрактных проявлениях инаковости, таких как менеджерские практики, стандарты Международной организации по стандартизации и другие пространства на пути мигранта.

И действительно, Неаполь поглотил меня. В рамках включенного наблюдения в транзитной компании мне было выдано удостоверение сотрудника компании с фотографией, которое я должен был носить на автобусных маршрутах, когда работал с посредниками. Несмотря на то что я написал для них мое полное имя, на удостоверении пропала, вместе с моей ирландской (американской) фамилией, случившаяся сто лет назад

миграция моей семьи в Америку, стерлось смешение итальянских, ирландских, французско-канадских, шведских и еврейских предков, и я стал просто «Никласом Демарией», как, быть может, мой предок, переехавший в 1890-х гг. в Америку из Беневенто (рядом с Неаполем). Тем не менее я не уверен, что проблемы интеграции всегда столь очевидны. Покидая Неаполь и возвращаясь в свой университет, я встретил уличного торговца из Бангладеша, с которым провел некоторое время. Он пытался перевести сюда свою жену. Мы поболтали о международных путешествиях, детях и браке, а потом он сказал с усмешкой: «Когда я увидел Неаполь, я понял, что могу состояться в Европе», хихикнул и ушел.

Библиография

- Acciaoli G.L.* Knowing What You're Doing // *Canberra Anthropology*. 1981. Vol. 4. No. 1. P. 23–54.
- Agamben G.* *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Stanford: Stanford University Press, 1998.
- Allport G.W., Postman L.* *The Psychology of Rumor*. N.Y.: Russell and Russell, 1947.
- Appadurai A.* Discussion: Fieldwork in the Era of Globalization // *Anthropology and Humanism*. 1997. Vol. 22. No. 1. P. 115–118.
- Benjamin W.* *Naples* // *Benjamin W. One-Way Street and Other Writings*. L.: Verso, 1979.
- Blowfield M., Frynas J.G.* Setting New Agendas: Critical Perspectives on Corporate Social Responsibility in the Developing World // *International Affairs*. 2005. Vol. 81. No. 3. P. 499–513.
- Comaroff J., Comaroff J.* Ethnography on an Awkward Scale. Postcolonial Anthropology and the Violence of Abstraction // *Ethnography*. 2003. Vol. 4. No. 2. P. 147–179.
- DeGenova N., Peutz N.* *The Deportation Regime. Sovereignty, Pace, and the Freedom of Movement*. Durham, NC: Duke University Press, 2010.
- Fassin D.* Policing Borders, Producing Boundaries. The Governmentality of Immigration in Dark Times // *Annual Review of Anthropology*. 2011. Vol. 40. P. 213–226.
- Feldman G.* *The Migration Apparatus. Security, Labor and Policymaking in the European Union*. Stanford: Stanford University Press, 2012.
- Ferguson J., Gupta A.* Spatializing States: Toward an Ethnography Of Neoliberal Governmentality // *American Ethnologist*. 2002. Vol. 29. No. 4. P. 981–1002.
- Ferguson J.* *The Anti-Politics Machine: "Development", Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994.
- Gluckman M.* The Village Headman in British Central Africa: Introduction // *Africa*. 1949. Vol. 19. No. 2. P. 89–94.

- Harney N.* Rumour, Migrants in the Informal Economies of Naples, Italy // International Journal of Sociology and Social Policy. 2006. Vol. 26. No. 9–10. P. 374–384.
- Herzfeld M.* The Body Impolitic. Artisans and Artifice in the Global Hierarchy of Value. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
- Li T.* The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics. Durham, NC: Duke University Press, 2007.
- Pierre J.* Introduction: Understanding Governance // J. Pierre (ed.). Debating Governance. Oxford: Oxford University Press, 2000. P. 1–10.
- Simmel G., Hughes E.C.* The Sociology of Sociability // American Journal of Sociology. 1949. Vol. 55. No. 3. P. 254–261.
- Stewart P.J., Strathern A.* Witchcraft, Sorcery, Rumours and Gossip. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Weber M.* Economy and Society: an Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: The University of California Press, 1978. Vol. 2.
- United Nations. World Economic and Social Survey. N.Y.: United Nations, 2004.

Пер. с англ. Аркадия Блюмбаума

ФЛОРИАН ШТАММЛЕР

1. От ничего не значащей науки, служанки и «человеческого измерения» к обретению собственной значимости

Арктическая антропология пережила поразительные преобразования как в том, что касается значения проводимых исследований, так и в отношениях с другими дисциплинами и обществом в целом. Этот сдвиг совпал по времени с формированием основного научного направления, а затем и консолидацией того академического пути, по которому сегодня движется автор статьи. С точки зрения западного ученого, работающего на Севере России, трансформация арктической антропологии свершилась, пройдя три фазы.

1) Фаза идеализма и очарования открывшимся полем, когда мы видели всю приполярную Арктику на начальном этапе превращения в большое поле сравнительных антропологических исследований. Впрочем, это

**Флориан Штаммлер
(Florian Stammer)**

Арктический центр,
Университет Лапландии,
Финляндия
fstammle@ulapland.fi

очарование казалось полным смысла прежде всего для нас, антропологов, в то время как весь остальной мир все еще считал то, что мы делаем, скорее «искусством для искусства», бессмысленным для кого-либо кроме нас самих.

2) Период, когда те, кто принимают решения в академическом мире и фондах, заметили, что арктические антропологи могут предложить многое для ответов на вопросы, которые, наконец, всплыли в публичном обсуждении неспециалистов. Например, вопрос о том, может ли Арктика стать системой первых предупреждений о следствиях глобального потепления — проблематика, постепенно сделавшая естественные науки предметом общественной дискуссии. Чему арктический опыт может научить весь остальной мир? Как аборигенное знание может быть использовано для понимания процессов изменения климата?

3) Третий период, как я думаю, только начался. Однако есть признаки того, что в арктической антропологии мы освобождаемся от повестки дня естественных наук и переходим к ситуации, когда можем задавать наши исследовательские вопросы и даже приглашать коллег из других дисциплин, включая естественно-научные, для ответов на вопросы, которые составляют ядро антропологии, а именно о принципах культурного и социального многообразия, эволюции и взаимоотношениях с окружающей средой.

Позволю себе высказаться подробнее об этих трех периодах, через которые, как мне кажется, проходит трансформация арктической антропологии.

На рубеже тысячелетий опубликован целый ряд солидных монографий, написанных в западной антропологической традиции о конкретных народах и территориях русской Арктики, от Чукотки (см., например, [Gray 2005; Kerttula 2000]), Саха / Якутии [Vitebsky 2005; Ventsel 2005; Willerslev 2007], Таймыра [Anderson 2000; Ziker 2002] до Ямала [Golovnev, Osherenko 1999; Stammler 2005], Коми [Habeck 2005] и Мурманской области [Took 2004; Konstantinov 2005; Vladimirova 2006]. Эти работы не только познакомили англоязычных антропологов с российскими арктическими территориями и связали их с западными антропологическими дискуссиями, но и открыли для иностранных читателей русскоязычные этнографические исследования, опубликованные российскими коллегами об этих регионах в советскую эпоху¹.

¹ Упомянув здесь англоязычную литературу, автор признает, что эти работы покрывают лишь очень небольшую, избранную часть всех публикаций. Я отнюдь не хочу преуменьшить большое число работ, публикуемых коллегами по-русски. Я надеюсь, что тот, кто лучше меня знаком с этой литературой, сможет написать ее обзор для «Антропологического форума».

К 2005 г. мне казалось, что пришло время сделать шаг вперед и начать сравнительное исследование, основанное на этих фундаментальных этнографических работах. Оно могло тематически связать частные исследования российской Арктики. После чего следовало продумать основные темы для работы с этнографическим материалом, которые могли бы стать для всей остальной антропологии «брендовой тематикой» Севера. Как известно антропологам, Амазонка символизирует развитие такой дисциплины, как этноботаника. Арктика могла бы стать известной антропологическими исследованиями взаимоотношений человека и окружающей среды, где важное место занимают связи людей с животным миром, как отметил Тим Ингольд в пленарном докладе 2004 г. на конгрессе Международной ассоциации арктических социальных наук [Ingold 2005].

Таковы были замечательные перспективы, разрабатывать которые с энтузиазмом начали некоторые из нас, публикуя, например, книги об оленеводстве на приполярном Севере [Stammler, Beach 2006], социальном значении животных в Арктике (со сравнительными заходами в Центральную Азию и с использованием ряда африканских примеров [Stammler, Takakura 2010]) или о партнерстве в полевой работе в Сибири и Индии [Vitebsky 2012].

Между тем эти попытки были слишком робкими и оказались почти незамеченными по сравнению с масштабами трансформаций, произошедших во второй период, упомянутый выше. Энциклопедия Арктики [Nuttall 2005] и отчет «Оценка воздействия изменения климата в Арктике» [Arctic Climate Impact Assessment 2005] стали первой кульминационной точкой в политически значимых публикациях междисциплинарных арктических исследований, где антропологические штудии оказались частью изучения окружающей среды и климатических изменений. Арктическая антропология вошла на правах полноправного партнера в глобальное исследовательское сообщество с миллионами долларов и евро финансирования, отпущавшегося на изучение климатических изменений. Те, кто принимал решения в академическом мире, поняли, что у всех природных явлений есть «человеческое измерение» и что оно должно быть как-то осмыслено и включено в междисциплинарную исследовательскую работу, которую они считали «передним краем».

Пять-десять лет тому назад становилось все труднее и труднее получать финансирование под какую бы то ни было исследовательскую идею, если она не была связана — всерьез или только ради получения денег — с масштабной проблемой «влияния климатических изменений и ответов на эти вызовы». Мне, тог-

да молодому «постдокторанту», это казалось серьезным ограничением академической свободы, как будто некий «большой брат» следил за нами и говорил: «Пока ваши исследования не будут обращены к климатическим изменениям, они не будут достойны финансирования».

В середине 2000-х гг. проблема заключалась не только в концентрации всех исследовательских усилий на этой одной теме, но и в том, что социальные и гуманитарные науки становились не более чем довеском к большей исследовательской естественно-научной программе в Арктике. Соответственно, наши коллеги оказывались «декоративными» специалистами по социальным наукам, получавшими крохи со стола исследовательских бюджетов, где большие финансовые пироги делились между теми, кто работал в Арктике.

В ситуации такого неравного партнерства тематика традиционного знания коренного населения приобрела особую значимость и за пределами чисто академической сферы. Целый ряд российских арктических этнографических работ, упомянутых выше, содержит богатый материал по таким знаниям наших информантов, однако там традиционное знание не сдобрено жаргоном науки о климатических изменениях. Благодаря большим проектам и политически значимым организациям, таким как ООН и Арктический Совет, традиционное знание стало доступно тем, кто принимает политические решения и пишет законы (см., например, Статью 8j «Конвенции о биоразнообразии»¹, [The Conservation Value of Sacred Sites 2004]). Это знание было кодифицировано в соответствии с западной системой принятия решений и вместе с антропологическими исследованиями оказалось отделенным от общества, став всего лишь добавкой к масштабной исследовательской программе естественных наук (см. критические замечания: [Forbes, Stammler 2009]).

Тем не менее постепенно все большее число коллег, занимающихся арктической антропологией, стало воспринимать эту ситуацию как неудовлетворительную; они все отчетливее начинали видеть, что играют роль прислуги при больших естественно-научных исследовательских программах. В этом отношении я всегда чувствовал мощную поддержку российских коллег и партнеров, на которых в гораздо меньшей степени влияла большая западная медиамашинка, связанная с наукой о климатических изменениях. На многочисленных встречах с 2005 г. я обнаружил, что российские коллеги, даже те, кто получал финансирование западных проектов, посвященных

¹ <<http://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-08>>.

климатическим изменениям, делятся своими критическими соображениями только во время кофе-брейков, причем по-русски, когда их не понимают западные коллеги.

С моей точки зрения, четыре ключевых события в немалой степени способствовали тому, что начался пересмотр «служебной» роли, которую играла наша наука.

Во-первых и во-вторых, почти одновременно два судьбоносных решения усилили наши позиции по отношению к фондам и коллегам из других дисциплин и способствовали нашему «выходу из тени» с точки зрения людей, принимающих большие политические и научные решения: мощная составляющая гуманитарных и социальных наук в программе Международного полярного года (IPY 2007/08 [Novelsrud, Krupnik 2006]) и в еще большей степени — упор на абсолютно гуманитарно ориентированную тематику в рамках большого международного проекта «БОРЕЙ» под эгидой Пирса Витебски и Европейского научного фонда (ESF BOREAS 2006–2010 [Ziker, Stammeler (eds.) 2011]).

Эти два события оказались решающими и проторили дорогу к признанию значимости арктической антропологии. Я хорошо помню, что происходило на самой первой встрече «БОРЕЯ» в сентябре 2004 г. в Институте полярных исследований им. Скотта в Кембридже, когда Петер Швайцер передал нам поздравления от Игоря Крупника, которому только что удалось убедить плановый комитет Международного полярного года включить исследовательские программы по гуманитарным и социальным наукам в Арктике в качестве отдельной большой темы. И в проекте «БОРЕЙ», и в проекте Международного полярного года было признано, что мы вместе с нашими информантами занимаемся исследованиями базового, фундаментального характера и что наши работы не просто довесок к масштабным естественно-научным проектам или выполнение заказа политических ведомств.

В-третьих, это заставило некоторых коллег возглавить то, что мы назвали «нашим движением за изъятие термина “человеческое измерение” из арктического научного словаря» [Stammeler et al. 2010]. Мы писали, что пришло время рассматривать все изменения, происходящие в окружающей среде, как разные аспекты общей повестки дня исследований о человеке и человеческом обществе, так сказать, своего рода «естественные измерения», и в то же время мы должны признать, что все научные исследования, которые проводятся в Арктике, проводятся ради выживания рода *человеческого*, его обществ и культур на планете. Поэтому, не считая гуманитарные и социальные науки «измерениями» естественно-научной исследовательской

повестки дня, мы настаивали на рассмотрении программ гуманитарных и социальных наук в качестве особых аспектов развивающегося знания о том, как лучше жить человеку на нашей планете.

В-четвертых, важным фактором, способствовавшим нашему освобождению, было также и то, что вне академического мира интерес к Арктике все больше приобретал общий характер и все меньше связывался исключительно с проблемой климатических изменений. Это произошло отчасти благодаря горячим дебатам об арктических минеральных и углеводородных ресурсах. Я помню, как в 2004 г. финансирующий орган рамочной программы Евросоюза объяснил отказ в финансировании, о котором мы просили вместе с Пирсом Витебски для изучения социальных и культурных воздействий добычи арктических энергоресурсов в России: нам объявили, что эта тема недостаточно важна для Евросоюза! Сегодня Евросоюз пытается получить статус наблюдателя в Арктическом Совете и мониторинг проблематику корпоративной социальной ответственности в борьбе за ресурсы в Арктике.

В результате этих трансформаций сейчас, в 2014 г., арктическая антропология частично освободилась от служебного статуса при политике и естественно-научных исследованиях климатических изменений. Значимость антропологического изучения арктических обществ и культур, использующего включенное наблюдение, возросла вместе с политическим значением региона в целом. Сегодня кажется, что арктические антропологи могут позволить себе следовать собственной исследовательской проблематике и при этом оставаться значимыми и заметными в общественной дискуссии. Нам «разрешено» вносить свой вклад в сами основы антропологического проекта, а именно углубляя наши общие представления о том, как устроены человеческие сообщества, как они действуют и реагируют на изменения и преемственность, в чем они сходны и чем отличаются друг от друга. При необходимости мы даже можем оплатить естественно-научную экспертизу для наших проектов, если это поможет ответить на фундаментальные исследовательские вопросы. Примером тому служит антропологически ориентированный, продолжающийся в настоящее время междисциплинарный проект Европейского исследовательского совета, посвященный взаимоотношениям людей и животных <<http://www.arcticdomus.org/>>.

Освобождение привело нас к возможности больше рассказать о том, как заниматься исследованиями окружающей среды. Еще слишком рано почивать на лаврах и гордиться достижениями; в нашем поле все еще существует множество вещей, по

поводу которых арктические антропологи могли бы ставить масштабные вопросы и предлагать большие проекты. Тем не менее ситуация определенно более благоприятна для того, чтобы наши исследования рассматривали как мощный бренд в развитии общего знания о природе взаимоотношений человека и окружающей среды, одной из основных и самых заманчивых проблем антропологии.

2. От «олeneведения» к оценке воздействия промышленности и субкультурным исследованиям: тематическое расширение и личностная интеграция поля

Первое поколение антропологов западного типа, которые попали на Север России во время и после перестройки, было небольшой группой ученых, большинство из которых знало и знает друг друга; они выстраивали тесные отношения научного партнерства с коллегами в России (см.: [Gray, Vakhtin, Schweitzer 2004]). Многие из этих ученых изучали или олeneводство, или постсоциалистические сдвиги, переживаемые сообществами коренного населения. Заимствуя термин Пирса Витебски, их можно назвать поколением «олeneведов» среди антропологов, занимающихся российской Арктикой. Эта тематика составила актуальный и важный вклад и в приполярную арктическую антропологию, и в антропологию (номадического и постномадического) олeneводства.

Поскольку разведение олени не значимо для североамериканской или гренландской Арктики, западный читатель располагал только финскими и скандинавскими исследованиями, которые можно было использовать для построения общей теории — до тех пор, пока это первое поколение не принялось в начале 2000-х гг. публиковать свои работы (ссылки см. выше). Изменения, произошедшие за последнее десятилетие, заключаются в расширении тематики, которой занимается это поколение — пусть и под прикрытием упоминавшегося выше жесткого финансирования исследований климатических изменений.

По мере того как развивались карьеры постсоциалистических и «олeneведческих» арктических антропологов и начинало работать первое поколение их аспирантов, арктические антропологи выходили за пределы исследований аборигенов. Теперь тематика начала охватывать все арктическое население, включая городское нетуземное большинство [Thompson 2008; Stammner, Eilmsteiner-Saxinger 2010; Bolotova 2012], субкультуры, такие как городской этномузыкальный ландшафт [Ventsel 2008], городские репрезентации культуры [Donahoe, Habeck 2011], а также новые религиозные движения [Vallikivi 2009] — это лишь несколько примеров.

Более того, наша область в немалой степени выиграла от интеграции России и Запада, главным образом благодаря российским ученым, получившим образование в иностранных университетах или в России, но в соответствии с западной академической практикой, участвующим в совместных публикациях, которые расширили тематические и компаративные масштабы нашей дисциплины (см., например, [Krupnik, Vakhtin 1997; Golovnev, Osherenko 1999; Cruikshank, Argounova 2000; Fondahl, Sirina 2006; Bolotova, Stammler 2010; Volzhanina, Anderson 2010; Safonova, Sántha 2011; Liarskaia, Dudeck 2012; Brightman, Grotti, Ulturgasheva 2012; Schweitzer, Golovko, Vakhtin 2013]). Благодаря этому сотрудничеству антропология Севера стала более сбалансированной в том, что касается тематики и работающих в этой области ученых. Мы видим, что, по состоянию на 2013 г., антропология Севера России — это далеко не только исследование климатических изменений, оценка воздействия промышленности или оленеводство. Эти темы все еще остаются чрезвычайно важными и этнографические публикации о них продолжают появляться, но последнее десятилетие привело к такому уровню интеграции, который представляется мне благотворным для академического сообщества и дисциплины.

3. Обретая значимость: взаимоотношения арктической антропологии и общества

Учитывая упомянутые выше перемены, нет сомнений, что арктическая антропология за последнее десятилетие многого добилась в сфере общественного внимания и общественной значимости. Этому способствовало прежде всего усиление политической важности Арктики, в первую очередь благодаря публичной дискуссии о климатических изменениях, а затем и о промышленном развитии. Следует, однако, признать, что и ученые не уклонялись от того, чтобы демонстрировать свои исследования обществу и политикам. Они активно публиковали работы, сделанные по заказу или для широкой публики и политических институций, таких как Арктический совет или Совет министров северных стран. На такие исследования, как “Sustainable Reindeer Husbandry” [Jernsletten, Klovov 2002], “The Arctic Human Development Report” [Einarsson et al. 2004] и “Arctic Social Indicators” [Larsen et al. 2010], сегодня одинаково ссылаются и влиятельные люди, ответственные за принятие решений, и студенты.

Другие ученые решили выйти к широкой публике через партнерство с кино- или телекомпаниями разных форматов. В то время как у научной публикации едва ли наберется больше тысячи читателей, такие фильмы, как «Арктические Авиаторы»

(BBC, консультант Витебски), «Тайна последнего перехода» (СВС, режиссер Томсон), «Арктика с Брюсом Перри» (BBC, консультант Штаммлер), смотрят многомиллионные аудитории. Все эти фильмы — сложный компромисс между глубокой научной идеей и стремлением рядового зрителя к захватывающему сюжету.

Все чаще и чаще арктические антропологи вступают в диалог с промышленностью, в частности добывающей, отдавая себе отчет, что ресурсы на территориях, которые они изучают, будут добываться независимо от того, участвуют ученые в этих процессах или нет. В то время как одни дистанцируются от этого общения и выступают с критикой вредных социальных последствий промышленного развития в Арктике, другие вступают в активное взаимодействие с корпоративными и политическими акторами, чтобы усовершенствовать существующие практики, а также способствовать выработке базовых принципов (см., например, [Plebts declaration 2009; Knizhnikov, Wilson 2010; Мартынова, Новикова 2011]). Более того, еще больший вклад антропологов можно увидеть в документах, определяющих политику, корпоративные принципы, стратегии неправительственных организаций и процессы принятия решений; эта работа почти незаметна, поскольку документы остаются неопубликованными, а вклад антропологов осуществляется в форме консультаций и встреч.

Еще одним способом взаимодействия с обществом является привлечение информантов в качестве активных соавторов публикаций. Это направление — гораздо более распространенная практика для арктических публикаций Северной Америки (см., например, [Krupnik, Jolly 2004]), где существует особая процедура получения разрешения общины на проведение исследования. Данная тенденция еще не вполне охватила евроазиатский континент, и в еще меньшей степени российский Север.

Мне кажется, что это происходит не потому, что наша работа не предполагает столь же тесного сотрудничества или признания роли наших информантов. Скорее дело в том, что целью сотрудничества в данном случае не обязательно являются англоязычные научные публикации. Почему оленевод или рабочий, добывающий газ, должны быть заинтересованы в соавторстве в научной публикации на языке, которого они не понимают и которую бессмысленно показывать своим товарищам? Тем не менее активисты нового поколения также становятся академическими учеными и вдобавок бегло говорят по-английски, и потому не за горами соавторство арктических антропологов и их информантов.

Может показаться, что в нынешней политической ситуации любые арктические штудии оправданы, только если они обладают социальной значимостью, будь то политика, местные сообщества или устойчивое развитие. Между тем упомянутые выше исследования последних десяти лет демонстрируют, что фундаментальные работы продолжали публиковаться даже по темам, единственным смыслом которых является прогресс научного знания (например, [Willerslev 2011]). Эта задача переживет любую политическую, экономическую, социальную или общественную повестку дня.

4. Соединяя социальную значимость, помощь сообщества и научные интересы для развития академического знания

Будучи учеными, много занимающимися полевой работой, мы знаем, что ни одно наше исследование невозможно без невероятного гостеприимства наших информантов, а нередко и ученых принимающей стороны. Раньше или позже некоторые из нас начинают задавать себе трудный вопрос о том, что мы оставляем после себя в поле и в научном сообществе. В моем случае эти соображения, кроме всего прочего, были спровоцированы разговорами в поле, которое я знаю лучше всего — на полуострове Ямал. В разговорах с пастухами-оленоводами и рыбаками я слышал советы, даже прямые вопросы двух типов: «Расскажите миру о нашей жизни и о том, как в нее вторгается промышленный прогресс» (Сергей и Александр Серотетто) и «Почему вы не записываете еще больше историй наших стариков, мы и об этих-то не знали, а людей, которые знают такие истории, почти не осталось» (Валерия и Хасамомбой Окотетто). Это побудило меня провести фундаментальные исследования, которые обладали бы значимостью и за пределами моего непосредственного исследовательского поля.

Эту задачу оказалось легче выполнить благодаря повышению моего академического статуса, что позволило мне координировать проекты, не ограниченные единственным полем. Первый проект охватывал территорию от Мурманской области до Ямала и являлся частью приполярного проекта Международного полярного года, проводившегося в рамках уже упоминавшейся программы «БОРЕЙ» Европейского научного фонда. Второй (продолжающийся) проект охватывает территории от севера Финляндии и Норвегии по арктическому берегу до Восточной Сибири¹.

Промышленная тема легко соотносится со стремлением преодолеть академический разрыв в арктической антропологии

¹ Оба проекта спонсируются Академией наук Финляндии, BOREAS MOVE INNOCOM, No. 118702, проект по устной истории "Orhelia", No. 251111.

между исследованиями, посвященными аборигенам, и городскими индустриальными исследованиями. Оказывается, что разделительные линии не столь отчетливы и не могут описываться как черное и белое, как это иногда изображается в средствах массовой информации. Как я понял, большинство аборигенов в поле, где я работаю, в принципе не против развития промышленности, однако они хотели бы улучшить то, как это происходит, оптимизировать собственную выгоду, а также выстроить плодотворные отношения с людьми, занятыми в промышленной сфере, с которыми на сегодняшний день они живут на одной земле, на Севере.

Это заставило меня обратить внимание на взаимоотношения между пришельцами, занятыми в промышленности, и аборигенами, а также подойти с теоретической точки зрения к выработке общего подхода, который можно было бы применить к изучению социокультурного воздействия промышленного развития (см.: [Stammler 2011]). В конце концов, пришло время понять, что если мы хотим внести свой вклад в создание общей антропологической теории, наши построения должны учитывать как коренное, так и некоренное население. Стремление избежать этнической узости, желание построить концепцию, обладающую более общей сферой применения, привело меня к пониманию материальности Арктики как важной составляющей, которая охватывает взаимоотношения природы и людей у таких разных групп, как пастухи-оленоводы и промышленные мигранты [Bolotova, Stammler 2010; Штаммлер 2011].

Тема рассказов стариков должна была вызревать несколько лет, прежде чем получила финансирование и обогатилась некоторыми теоретическими оговорками. Раньше я считал, вдохновленный североамериканской литературой, что мы автоматически представляем себе стариков как авторитетную и часто институционализированную группу, говорящую от лица всего «сообщества». В российской Арктике многие довольны тем, что здесь нет таких институционализированных шаблонных представлений о стариках. Быть может, наши информанты не всегда хотят, чтобы мы концентрировались только на стариках? Выход заключался в том, чтобы рассмотреть передачу устного исторического и культурного наследия в сравнительной перспективе. Поэтому в нынешнем исследовательском проекте «ORHELIA» мы занимаемся группами людей со сходным ареалом обитания (арктическое побережье) и историческим бэкграундом (опыт авторитарной империи XX в.), чтобы сравнить, как знание передается между поколениями в разных группах.

Для реализации этого проекта мы также соединяем методики исследования устной традиции с методами социальной антро-

пологии. Это особенно важно ввиду нашего понимания того, что в арктических сообществах, где невербальные формы коммуникации по меньшей мере столь же важны, как и слова, мы не можем предполагать, что интервью, посвященные истории человеческой жизни, дадут нам полную картину чьей-то роли в масштабных процессах социальных преобразований XX в. Мы подходим намного ближе к цели, соединяя, где это возможно, интервьюирование с классическим долгосрочным включенным наблюдением.

Проблематика, которой я занимался в последнее время, а также стимулы, истоком которых было поле, заставили меня задуматься о менее традиционной и стандартизированной работе с полевыми находками. Так, во время полевой работы в 2012 и 2013 гг. мы придумали с ненецкими друзьями снять боевик с местными актерами на основе ненецких ярабц, особой формы ненецкой песни, где устное мифологическое наследие предков и отдаленного духовного прошлого исполняется двумя людьми разных поколений. Этот способ исполнения сегодня исчезает из-за технических новшеств, появления DVD-плееров и мобильных телефонов в отдаленных арктических областях. Мы мечтали о том, чтобы этот материал сохранился и оставался живым, чтобы его можно было исполнять с помощью современных технологий, которыми так увлекается молодежь. Сходным образом, культурное наследие, которое мы фиксировали в нашем исследовании по устной истории, могло бы вернуться к людям через интернет-трансляцию аудиовизуального материала в доступном формате, с использованием персональных средств коммуникации.

Благодаря всем этим линиям развития последнего десятилетия у меня складывается впечатление, что арктическая антропология более заметно, чем раньше, способствует одновременно прогрессу фундаментальных теоретических подходов к изучению человеческих обществ и воздает должное социальному и культурному многообразию нашей планеты.

Библиография

- Мартынова Е.П., Новикова Н.И.* Тазовские ненцы в условиях нефтегазового освоения: Этнологическая экспертиза. 2011. <ethnoconsulting.ru>.
- Штаммлер Ф.* Кочевые и оседлые обитатели на севере: о становлении чувства местности в северном человеческом сообществе // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2011. Вып. 1 (70). С. 84–88.
- Einarsson N., Larsen J.N., Nilsson A., Young O.R.* Arctic Human Development Report. Akureyri: Stefansson Arctic Institute, 2004.

- Anderson D.* Identity and Ecology in Arctic Siberia: the Number One Reindeer Brigade. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Arctic Climate Impact Assessment — Scientific Report. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Bolotova A.* Loving and Conquering Nature: Shifting Perceptions of the Environment in the Industrialised Russian North // *Europe-Asia Studies*. 2012. Vol. 64 (4). P. 645–671.
- Bolotova A., Stammler F.* How the North Became Home. Attachment to Place among Industrial Migrants in Murmansk Region // C. Southcott, L. Huskey (eds.). *Migration in the Circumpolar North: Issues and Contexts*. Edmonton; Alberta: Canada Canadian Circumpolar Institute Press, University of Alberta, 2010. P. 193–220. (CCI Occasional Publication No. 64).
- Brightman M., Grotti V.E., Ulturgasheva O.* (eds.). *Animism in Rainforest and Tundra: Personhood, Animals, Plants and Things in Contemporary Amazonia and Siberia*. Oxford, N.Y.: Berghahn Books, 2012.
- The Conservation Value of Sacred Sites of Indigenous Peoples in the Arctic. A Case Study in Northern Russia. (Technical Report No. 11). 2004. Conservation of Arctic Flora and Fauna.
- Cruikshank J., Argounova T.* Reinscribing Meaning: Memory and Indigenous Identity in Sakha Republic (Yakutia) // *Arctic Anthropology*. 2000. Vol. 37. No. 1. P. 96–119.
- Donahoe B., Habeck J.O.* (eds.). *Reconstructing the House of Culture: Community, Self, and the Makings of Culture in Russia and Beyond*. Oxford, N.Y.: Berghahn Books, 2011.
- Fondahl G., Sirina A.A.* Rights and Risks: Evenki Concerns Regarding the Proposed Eastern Siberia — Pacific Ocean Pipeline // E. Wilson, F. Stammler (eds.). *Sibirica. Special Issue on the Oil and Gas Industry, Local Communities and the State*. Oxford: Berghahn journals, 2006. P. 115–138.
- Forbes B., Stammler F.* Arctic Climate Change Discourse: the Contrasting Politics of Research Agendas in the West and Russia // *Polar Research*. 2009. Vol. 28: Climate Change Vulnerability and Adaptation in the Arctic. P. 28–42.
- Golovnev A., Osherenko G.* *Siberian Survival: The Nenets and their Story*. Ithaca; L.: Cornell University Press, 1999.
- Gray P.A.* The Predicament of Chukotka's Indigenous Movement. Post-Soviet Activism in the Russian Far North. Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 2005.
- Gray P., Vakhtin N., Schweitzer P.* Who Owns Siberian Ethnography? A Critical Assessment of a Re-internationalized Field // *Sibirica*. 2004. Vol. 3 (2). P. 194–216.
- Habeck J.O.* What It Means to Be a Herdsman: The Practice and Image of Reindeer Husbandry among the Komi of Northern Russia / C.M. Hann, R. Rottenburg, B. Schnepel, S. Shimada (eds.). Münster: Lit, 2005.
- Hovelsrud G.K., Krupnik I.* IPY 2007–08 and Social / Human Sciences: An Update // *Arctic*. 2006. Vol. 59 (3). P. 341–348.

- [Ilebs declaration 2009] Declaration on Coexistence of Oil & Gas Activities and Indigenous Communities on Nenets and Other Territories in the Russian North. Co-authored by Russian Northern scholars and practitioners from authorities, industry and indigenous communities, compiled by Florian Stammer & Bruce Forbes <www.arcticcenter.org/declaration>.
- Ingold T.* A Manifesto for the Anthropology of the North // A. Sudkamp (ed.). Connections: Local and Global Aspects of Arctic Social Systems. Fairbanks: International Arctic Social Science Association, 2005. Vol. 5. P. 61–71.
- Jernsletten J.-L., Klovov K.B.* Sustainable Reindeer Husbandry. Tromsø: Centre for Saami Studies, 2002.
- Kerttula A.M.* Antler on the Sea: The Yup'ik and Chukchi of the Russian Far East. Ithaca: Cornell University Press, 2000.
- Knizhnikov A., Wilson E.* Responsible Contracting in the Russian Oil and Gas Industry. Moscow, WWF-Russia, 2010. <<http://pubs.iied.org/pdfs/G02723.pdf>>.
- Konstantinov Y.* Reindeer Herders: Field-Notes from the Kola Peninsula. Dissertations and Documents in Cultural Anthropology. Uppsala, 2005.
- Krupnik I., Vakhtin N.* Indigenous Knowledge in Modern Culture: Siberian Yupik Ecological Legacy in Transition // Arctic Anthropology. 1997. Vol. 34 (1). P. 236–252.
- Krupnik I., Jolly D.* The Earth is Faster Now: Indigenous Observations of Arctic Environmental Change. Smithsonian Institution, Washington DC: Arctic Research Consortium of the United States (ARCUS), 2004.
- Larsen J.N., Schweitzer P.P., Fondahl G.* Arctic Social Indicators. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, Stefansson Arctic Institute, 2010.
- Liarskaia E., Dudeck S.* Multiple Privacies — Nesting Spheres of Intimacy in Western Siberian Indigenous Lifestyles // M. Carucci (ed.). Revealing Privacy: Debating the Understandings of Privacy. Frankfurt/Main: Peter Lang, 2012. P. 61–74.
- Nuttall M.* (ed.). Encyclopedia of the Arctic. L.: Routledge, 2005.
- Safonova T., Sántha I.* Mapping Evenki Land: The Study of Mobility Patterns in Eastern Siberia // Folklore: Electronic Journal of Folklore. 2011. Vol. 49. P. 71–96. doi:10.7592/FEJF2011.49.evenki.
- Schweitzer P.P., Golovko E.V., Vakhtin N.B.* Mixed Communities in the Russian North; or, Why Are There No “Creoles” in Siberia? // Ethnohistory. 2013. Vol. 60 (3). P. 419–438. doi:10.1215/00141801-2140749.
- Stammer F., Eilmsteiner Saxinger G.* (eds.). Biography, Shift-labour and Socialisation in a Northern Industrial City / Биография, вахтовый труд и социализация в северном индустриальном городе. Tyumen State University; Arctic Centre Rovaniemi: online edited volume. 2010. <www.arcticcentre.org/anthropology-publications>.

- Stammler F.* et al. (with contributions by P. Vitebsky, Y. Csonka, Joan Nymard-Larsen, Gail Fondahl, Igor Krupnik, Hugh Beach, Daniela Ligget, Sverker Sörlin). Our Movement to Retire the Term “Human Dimension” from the Arctic Science Vocabulary // IASSA Northern Notes Newsletter. 2010, Fall/Winter. P. 7–13.
- Stammler F.* Reindeer Nomads Meet the Market: Culture, Property and Globalisation at the End of the Land. Münster: Lit, 2005.
- Stammler F.* Oil without Conflict? The Anthropology of Industrialisation in Northern Russia // A. Behrends, S.P. Reyna, G. Schlee (eds.). Crude Domination: An Anthropology of Oil. Oxford: Berghahn Books, 2011. P. 243–269.
- Stammler F., Beach H.* (eds.). People and Reindeer on the Move. Oxford: Berghahn, 2006. (Special Issue of the journal “Nomadic Peoples”. No. 10, 2).
- Stammler F., Takakura H.* (eds.). Good to Eat, Good to Live with: Nomads and Animals in Northern Eurasia and Africa. Sendai: Center for Northeast Asian studies, Tohoku University, 2010. <[http://www.arcticcentre.org/anthropology - publications](http://www.arcticcentre.org/anthropology-publications)>.
- Thompson N.* Settlers on the Edge: Identity and Modernization on Russia’s Arctic Frontier. Vancouver: UBC Press, 2008.
- Took R.* Running with Reindeer: Encounters in Russian Lapland. N.Y.: Perseus Books Group, 2004.
- Vallikivi L.* Christianization of Words and Selves: Nenets Reindeer Herders Joining the State through Conversion // M. Pelkmans (ed.). Conversion after Socialism: Disruptions, Modernisms and Technologies of Faith in the Former Soviet Union. Oxford, N.Y.: Berghahn Books, 2009. P. 59–83.
- Ventsel A.* Reindeer, Rodina and Reciprocity: Kinship and Property Relations in a Siberian Village. Münster: Lit, 2005.
- Ventsel A.* Punx and Skins United: One Law for Us One Law for Them // Journal of Legal Pluralism & Unofficial Law. 2008. Vol. 57. P. 45–100.
- Vitebsky P.* Reindeer People. Living with Animals and Spirits in Siberia. L.: Harper Collins, 2005.
- Vitebsky P.* Repeated Returns and Special Friends: From Mythic Encounter to Shared History // Returns to the Field: Multitemporal Research and Contemporary Anthropology. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2012. P. 180–202.
- Vladimirova V.* Just Labor. Labor Ethic in a Post-Soviet Reindeer Herding Community. Uppsala: University of Uppsala, 2006. (Uppsala Studies in Cultural Anthropology. No. 40, Cultural Anthropology).
- Volzhanina E., Anderson D.G.* The Ethnodemography of the Taiga Peoples in the Vicinity of the Vitim-Olekma Gold Mines During the First Quarter of the 20th Century // Sibirica: Interdisciplinary Journal of Siberian Studies. 2010. Vol. 9. No. 3. P. 66–90.
- Willerslev R.* Soul Hunters: Hunting, Animism, and Personhood Among the Siberian Yukaghirs. Oakland, CA: University of California Press, 2007.
- Willerslev R.* Frazer Strikes Back from the Armchair: a New Search for the Animist Soul // Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S.). 2011. Vol. 17. P. 504–526.

Ziker J. Peoples of the Tundra. Northern Siberians in the Post-Communist Transition. Long Grove, IL: Waveland Press, 2002.

Ziker J., Stammler F. (eds.). Histories from the North: Environments, Movements, and Narratives. Proceedings of the Boreas Final conference, Rovaniemi. Boise; Rovaniemi: Boise State University; University of Lapland, 2011.

Пер. с англ. Аркадия Блюмбаума

МАРК ЭДЕЛЕ, ДЕБРА МАКДУГАЛЛ

История и антропология за последние десять лет

Мы решили сконцентрироваться на первых трех вопросах.

1

«Чтобы вы люди ни делали, перестаньте ссылаться на Клиффорда Гирца!» Такой совет один из пишущих эти строки, историк по образованию, получил от антрополога, которого встретил в начале 2000-х гг. на конференции. Этот не лишенный фрустрации выпад указывает на взаимоотношения между антропологией и культурной историей, которые сложились со времен «культурного поворота»: историки равняются на антропологическую теорию, в то время как антропологи переходят к следующему большому объекту. Два наиболее важных словечка, пришедших в сферу культурной истории за последние десять лет, — «транснационализм» и «чувства». Десять лет назад появилось несколько манифестов, направленных на знакомство студентов с тем, чем может быть «история переплетений» [Werner, Zimmerman 2002; 2003]; сегодня можно купить руководство по данному предмету [Iriye 2013; Saunier 2013] и даже «Словарь транснациональной истории» [Iriye, Saunier 2009]. Сходным образом, если вернуться в 2003 г., когда участники конференции по истории в Чикагском университете все еще разбирались с первопроходческой книгой Уильяма Редди “Navigation of Feelings: A Framework for the History of

**Марк Эделе
(Mark Edele)**

Университет Западной
Австралии,
Перт, Австралия
mark.edele@uwa.edu.au

**Дебра МакДугалл
(Debra McDougall)**

Университет Западной
Австралии,
Перт, Австралия
debra.mcdougall@uwa.edu.au

Emotions” (2001), историки старшего поколения заявляли, что они могут интересоваться этими вещами в качестве хобби, но не советовали аспирантам заниматься такой «мягкой тематикой». На сегодняшний день легитимность того, что некогда было развлечением для истеблишмента, гарантируют обширная дискуссия в американском ведущем журнале “The American Historical Review” (2012), подробные методологические руководства [Plamper 2012], исследовательский центр в Институте человеческого развития им. Макса Планка (Берлин), не говоря уже о “Centre of Excellence in the History of Emotions” в университете Западной Австралии; центр финансируется большим грантом Австралийского научного совета.

Хотя транснационализм и чувства являются модными направлениями культурной истории, в своей близкородственной дисциплине на сегодняшний день они оказываются в известном смысле старыми новостями. К середине 1990-х гг. видные антропологи уже выработали научные планы изучения процессов культурной глобализации с помощью инновационных проектов, нередко с исследованием нескольких полей [Kearney 1995; Marcus 1995; Appadurai 1996]. Интерес к чувствам в антропологии достиг пика десятилетием ранее этого транснационального поворота. Лутц и Уайт [1986] отметили, что междисциплинарный интерес к этой теме рос с 1960-х гг.; к 1980-м гг. антропологи, работавшие как в рамках психологической антропологии, так и за ее пределами, писали этнографические исследования, сфокусированные главным образом на аффектах (например, [Briggs 1970; Schieffelin 1976; Abu-Lughod 1986; Myers 1986; Lutz 1988; Burbank 1994]).

Между тем в близкой дисциплине и среди историков России и транснациональная история [David-Fox 2006; 2011a; 2011b; Fitzpatrick, Geyer 2009; David-Fox et al. 2012; Edele 2014a], и история чувств [Boym 2001; Fitzpatrick 2001; 2004; Suny 2004; Emotional Turn 2009; Elie et al. 2010; Steinberg, Sobol 2011] обнаруживают первых приверженцев. Тем не менее ни одно из этих направлений не имеет отношения ни к одной наиболее влиятельной дискуссии в рамках этой дисциплины за последние двадцать лет [Chatterjee, Petrone 2008]. Идея «сталинистской субъективности» действительно строится на представлении о том, что Советский Союз, несмотря на его «модерный характер», являлся особой цивилизацией, по сути своей отличной от западной цивилизации и закрытой для нее [Malia 1994; Kotkin 1995]. Такая субъективность оформлялась внутри советского, а не транснационального ареала; кроме того, процесс ее порождения был интеллектуальным столкновением людей с идеологией, а не погружением в бурные эмоциональные моря. Неслучайно наиболее видный историк, работающий в этой

области, изначально занимался 1930-ми гг. [Hellbeck 2006], где представление о закрытом характере системы в известной степени имело больше смысла, чем в эпоху войны или послевоенных лет [Edele 2006]. Дискуссия на сегодняшний день продвигается и дошла уже до военной поры [Krylova 2010; Reese 2011; Johnston 2011; Hellbeck 2012; Markwick, Cardona 2012; Edele 2013; 2014b]. Остается посмотреть, применимы ли старые основания для этих лет, характеризующихся повышенной эмоциональностью и усилением транснациональных потоков людей, оружия, идей.

Кажется, что история развивается, идя по теоретическим «следам» антропологии, но для научных методов верно обратное: антропологи нынешних поколений, вслед за историками, идут в архив. В 1980-е гг. исследования колониализма входят в дисциплинарный мейнстрим (например, [Cohn 1987; Comaroff, Comaroff 1991]). В то же время теория практик, а также исследования структуры и истории открыли атемпоральность структурализма [Sahlins 1985]. Вместе с поворотом в сторону истории антропологи начинают обращать внимание на христианство. Это шаг, оказавшийся особенно важным для антропологии Океании [Barker 1990; Robbins 2004; Keane 2007; Tomlinson, McDougall 2013], хотя Крис Ханн и другие скорректировали преобладавший интерес к пятидесятничеству и Океании антропологическими исследованиями евразийского, восточноевропейского и постсоветского типов христианства [Hann, Goltz 2010]. Антропологические исследования христианства помогли обновить интерес к антропологии религии в общем виде — научной теме, существующей с самого начала дисциплины.

Теоретические направления в антропологии меняются быстро. Предметы, некогда исследовавшиеся под знаменем «транснационализма», теперь реконцептуализируются как, например, «космополитизм» [Werbner 2008]. За последние пару десятилетий, однако, наиболее драматично менялась скорее *практика* антропологии, чем ее теория. Двадцать лет назад для аспирантов считалось столь же профессионально рискованным предпринимать исследования в США, Европе или других западных, городских и современных контекстах, как и для их сверстников-историков — «беспокоиться о чувствах» [Rosenwein 2002]. Сегодня ситуация обратная: если более ранние поколения ученых должны были оправдывать “studying up”, т.е. исследование образа жизни социальных верхов [Nader 1972], то ученые нашего времени считают необходимым оправдывать свой интерес к таким социальным формам, как «деревня» [Stasch 2013]. Тогда как многие антропологи продолжают полевые исследования среди людей, культурно далеких от них, некоторые из

наиболее видных представителей дисциплины изучают социальные миры, находящиеся гораздо ближе к дому.

2

Судя по всему, мы должны переживать поколенческий сдвиг в том, что касается облика социальных и гуманитарных наук. Бебибумеры (люди, рожденные в конце 1940-х и в начале 1950-х гг.) сходят со сцены, и несколько групп молодых ученых, обладающих очень разным жизненным опытом, ожиданиями и мировидением, готовы занять их место. Последствия этого поколенческого сдвига, однако, до известной степени оставались неявными по нескольким причинам. Прежде всего, мы видим (в США и Австралии) углубляющийся разрыв между преподаванием и исследовательской работой; это связано с тем, что академический мир начинают заполнять преподаватели, работающие по временному контракту. Новое поколение ученых может учить студентов, но они не готовят материалы, по которым обучают студентов. Более того, не все бебибумеры уходят на пенсию в одно и то же время, а многие из наиболее продуктивных ученых старшего поколения не уходят на пенсию вообще. Даже если они покидают свои посты, они остаются чрезвычайно плодовитыми и могут производить научный продукт в таких объемах, которых их молодые получившие постоянное место коллеги достичь не могут. Молодые ученые, погруженные в преподавательскую работу и администрирование, нередко с семьями, где оба супруга делают карьеру, часто связанные необходимостью междугородних переездов, если оба супруга работают в науке (а зачастую именно так), имеют просто меньше времени и меньше наработанного, чем их якобы отставные коллеги. В-третьих, ни у старших, ни у младших нет согласия между собой относительно политики, идеологии, методологии или эстетики. Например, по мере того, как исследователи всех поколений критиковали или хвалили провокационные выводы книги Эделе “Stalinist Society” [2011], они как бы нечаянно для себя подтверждали обоснованность аргументов последней главы книги. Кроме того, мы не видим никакой четкой схемы, описывающей даже выбор темы среди ученых разных поколений.

Существуют общие тенденции, которые, однако, не связаны с поколенческими изменениями. В обеих наших науках мы видим уход от бедных, необразованных, эксплуатируемых в сторону наиболее удачливых — то, что было названо в антропологии «метрополитанизацией» науки (Капферер в [Anthropologists Are Talking 2007]). Перемены, произошедшие в мире, таковы, что базовые приемы канонических этнографических исследований прошлого — заключение в скобки социального мира во времени и пространстве, минимизация разговора о внешних связях — оказываются несостоятельными. Конечно, следует

оценивать положительно тот факт, что антропология больше не занимает «ячейку, отведенную для дикарей» [Trouillot 1991] в социальных науках. Тем не менее нам кажется, что антропология слишком поспешно отказалась, а точнее отреклась от своей традиции, чересчур быстро обратив почти все свое внимание на относительно богатые, грамотные, элитарные группы, которые на протяжении длительного времени были объектами изучения большинства других социальных и гуманитарных наук. Антропологи традиционно стремились выйти за пределы западных интеллектуальных традиций, частью которых являлись, и включить эти традиции в ситуацию диалога с совсем другими способами видеть мир, а именно с теми не западными, часто неграмотными людьми, которые были нашими классическими собеседниками. Полвека внутренней критики, о которой писала Сюзан Гал в «Антропологическом форуме» десять лет назад, подорвали способность дисциплины порождать подобный диалог. Критики антропологии указывали, что сам по себе проект изучения других эпистемологически и этически являлся подозрительным, особенно когда эти другие оказывались менее влиятельными в глобальной политической экономике, чем сами ученые. Поскольку стало меньше антропологов, которые действительно работают среди бедных, дисциплина может избегать некоторой эксплуатации, однако при этом мы сужаем границы человеческого опыта, который становится предметом научного исследования.

Тенденция к «метрополитанизации» не так отчетливо заметна в истории, отчасти потому, что история на протяжении длительного времени была прежде всего ориентирована на изучение элит. Это связано с изначальным интересом истории к национализмам и национальным государствам и отражает ограничения, которые накладывают источники: элиты пишут и тем самым создают сырой материал, от которого зависят историки. Социальная история пыталась расширять предмет исследования, используя количественные методы, стремясь добраться до опыта, не отраженного в письменных свидетельствах. Новая культурная история 1980-х и начала 1990-х гг. [Hunt 1989] также вдохновлялась исследованиями жизненных миров не элит [Ginzburg 1980; Behringer 1994]. На сегодняшний день, однако, специалисты по культурной истории с большей вероятностью будут писать о государственном дискурсе и опыте элит. Критиков этой тенденции немного и они редки, хотя, конечно, они существуют [Diamant 2009; Зубкова, Жукова 2010]. Отчасти эта «элитизация» является результатом интереса специалистов по культурной истории к насыщенным символическим артефактам, которые с большей вероятностью производятся хорошо образованными людьми, как давным-давно указывал Билл

Севелл [2001]. Между прочим, история эмоций подчинена той же логике, подталкивая тех, кто ею занимается, так сказать, «наверх».

Уход от бедных и угнетенных усилен сдвигом от локального к глобальному, от национального к транснациональному, от антропологии, укорененной в каком-то месте, к истории переплетений. Локальное, если оно вообще изучается, становится «глокальным», а «космополитизм» обычно понимается как изучение большого города, центра (the metropole). Тот факт, что более половины населения земного шара теперь живет в городах¹, не делает менее значимой жизнь тех, кто продолжает жить в сельской местности, однако большинство историков и антропологов больше всего интересуются предметами глобальными, мобильными и городскими. Возникновение транснациональной истории (что является благом, поскольку показывает, как можно выйти за пределы национального государства) становится в этом отношении палкой о двух концах: по большей части изучаются переходы и переплетения между городскими и культурными элитами.

3

Мы стали свидетелями целого ряда перемен за последние десять лет, однако многие из них отражают наш собственный меняющийся контекст в связи с переходом от национальной системы, в которой мы получили образование (США), к новой системе (австралийской). Контрасты между двумя системами поразительны, но мы видим сходные тенденции увеличения администрации, разрыва между преподаванием и исследованием и казуализации университетского труда, т.е. увеличения временных ставок. Высшие университетские администраторы, когда-то первые среди равных, люди, от которых ждали возвращения к преподаванию и науке, на сегодняшний день стали особой, получающей всё более солидные зарплаты кастой. Ученые обладают минимальным участием в управлении австралийскими университетами, хотя наш мощный профсоюз помог обеспечить устраивающие нас зарплаты и щедрые выплаты — что мы ценим, сопоставляя с ситуацией наших коллег в США. В Австралии деньги на исследования доступны для гуманитарных и социальных наук (хотя недавно избранное консервативное правительство решило ликвидировать «расточительное» финансирование, под которым имеется в виду большинство гуманитарных исследований и всё, что не обладает прикладным значением), однако финансирование не распределяется равномерно как среди, так и внутри университетов. Источником дохода большинства университетов является пре-

¹ <<http://www.who.int>>.

подавание, однако развернувшаяся в Австралии борьба за высокий статус в национальных и международных научных рейтингах отобрала у образования финансирование.

Приводят ли подобные изменения к повышению качества исследований — вопрос спорный, однако нет сомнений, что они порождают четкую статусную систему внутри университетов. На вершине официальной иерархии находятся регулярные получатели больших грантов Австралийского научного совета, которые минимально занимаются преподаванием и могут уклоняться от административных обязанностей. Далее идут люди, имеющие постоянные места, которые с переменным успехом получают гранты и печатаются. На нашей кафедре преподавательская нагрузка распределяется в соответствии с успехами в сфере публикаций и получения грантов (они измеряются индексом, который без иронии именуется «Сократическим»); большее количество публикаций означает уменьшение преподавательской нагрузки. На нижней ступени лестницы стоят ученые, которых нанимают по контракту и которые целиком зависят от благосклонности получающих гранты профессоров.

Везде академические системы продолжают производить больше защитивших диссертации, чем количество рабочих мест в науке. Кажется, что австралийцы реагируют на эту проблему раньше своих американских коллег тем, что говорят нашим докторантам о малой вероятности преподавательской и исследовательской карьеры в университете. Однако американские университеты быстро догоняют австралийцев: во время недавнего визита в нашу альма-матер, Чикагский университет, мы узнали, что даже эта фабрика профессоров теперь поощряет своих аспирантов думать о неакадемической карьере.

За последние десять лет было много и позитивных сдвигов. К примеру, серьезные историки и антропологи стремятся работать с широкой публикой. Одним из мест, где это происходит, является Википедия. Статьи в Википедии, над которыми когда-то смеялись из-за частых фактических ошибок в таких областях, как русская история, на сегодняшний день подчас лучше, чем статьи в справочниках, сделанных на коммерческой основе, поскольку исправлением ситуации занимались профессиональные историки. Это подводное течение среди русистов возглавляет один из сетевых провидцев нашей науки, Маршалл По (ср.: [Пое 2009]), который совсем недавно начал новое предприятие, также с целью познакомить широкую публику с научным знанием. Его «Новые книги по истории» <<http://newbooksinhistory.com/>> используют подкастинг, чтобы знакомить с научными исследованиями тех, кто интересу-

ется историей, но у кого не хватает времени или энергии читать книги [Рое 2012].

Действительно, возможности новых медиа для преодоления разрыва между учеными и другими интеллигентными людьми подчас вызывают изумление. Возьмите недавнюю статью антрополога Дэвида Гребера в онлайн-журнале (“On the Phenomenon of Bullshit Jobs”, <<http://www.strikemag.org/bullshit-jobs/>>), которая пошла в народ, и в считанные недели на нее обратила внимание печатная пресса.

Пример статьи Гребера, которая пересекла границы не только между академией и «остальным миром», но и между «старыми» и «новыми» медиа, показывает, что расширение работы с большой неакадемической аудиторией не следует ограничивать интернетом. Растет число серьезных, но доступно написанных научных книг (например, [Graeber 2011; Luhrmann 2012], что касается антропологии; или [Bourke 2011] и [Clark 2013], если говорить об истории), которые достигают более широкой аудитории, чем надеется большинство ученых. Тот факт, что такие книги в наше время можно подчас найти в книжных магазинах аэропортов, следует рассматривать как признак успеха в деле уничтожения стен башни из слоновой кости, а не отвратительного популизма, как насмешливо говорят пуристы. И вправду, мы можем только надеяться, что у этой тенденции будет продолжение.

Библиография

- Зубкова Е., Жукова Т.Ю. На «краю» советского общества. Социальные маргиналы как объект государственной политики. 1945–1960-е гг. М.: РОССПЭН, 2010.
- Эли М., Плампер Я., Шахадат Ш. (ред.). Российская империя чувств: Подходы к культурной истории эмоций. Сб. статей. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
- Abu-Lughod L. Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society. Berkeley: University of California Press, 1986.
- “Anthropologists Are Talking” About Anthropology after Globalisation // Ethnos: Journal of Anthropology. 2007. Vol. 72. No. 1. P. 102–126.
- Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
- Barker J. (ed.). Christianity in Oceania: Ethnographic Perspectives. Lanham, MD: University Press of America, 1990.
- Behringer W. Chonrad Stoeckhlin und die Nachtschar: eine Geschichte aus der frühen Neuzeit. Munich: Piper, 1994.
- Briggs J.L. Never in Anger: Portrait of an Eskimo Family. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970.
- Bourke J. What It Means to Be Human: Historical Reflections from the 1800s to the Present. N.Y.: Counterpoint, 2011.

- Boym S.* The Future of Nostalgia. N.Y.: Basic Books, 2001.
- Burbank V.* Fighting Women: Anger and Aggression in Aboriginal Australia. Berkeley: University of California Press, 1994.
- Chatterjee C., Petrone K.* Models of Selfhood and Subjectivity: The Soviet Case in Historical Perspective // *Slavic Review*. 2008. Vol. 67. No. 4. P. 967–986.
- Clark C.* The Sleepwalkers. How Europe Went to War in 1914. N.Y.: Harper, 2013.
- Cohn B.S.* An Anthropologist among the Historians and Other Essays. Delhi: Oxford University Press, 1987.
- Comaroff J., Comaroff J.* Of Revelation and Revolution: Christianity, Colonialism, and Consciousness in South Africa. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
- David-Fox M.* Multiple Modernities vs. Neo-Traditionalism: On Recent Debates in Russian and Soviet History // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 2006. Vol. 54. No. 4. P. 535–555.
- David-Fox M.* Showcasing the Great Experiment: Cultural Diplomacy and Western Visitors to the Soviet Union, 1921–1941. Oxford: Oxford University Press, 2011a.
- David-Fox M.* The Implications of Transnationalism // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2011b. Vol. 12. No. 4. P. 885–904.
- David-Fox M., Holquist P., Martin A.M.* Fascination and Enmity: Russia and Germany as Entangled Histories, 1914–1945. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2012.
- Diamant N.J.* Embattled Glory: Veterans, Military Families, and the Politics of Patriotism in China, 1949–2007. Lanham, MD: Rowan & Littlefield, 2009.
- Edele M.* More than just Stalinists: the Political Sentiments of Victors, 1945–1953 // *J. Fürst* (ed.). Late Stalinist Russia. Society between Reconstruction and Reinvention. L.; N.Y.: Routledge, 2006. P. 167–191.
- Edele M.* Stalinist Society 1928–1953. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Edele M.* “What Are We Fighting for?” Loyalty in the Soviet War Effort, 1941–1945 // *International Labor and Working-Class History*. 2013. No. 84. P. 248–268.
- Edele M.* Learning from the Enemy? Entangling Histories of the German-Soviet War, 1941–1945 // *Baratieri D., Edele M., Finaldi G.* Totalitarian Dictatorship: New Histories. N.Y.: Routledge, 2014a. P. 190–211.
- Edele M.* Review of Hellbeck J. Die Stalingrad Protokolle. Sowjetische Augenzeugen berichten aus der Schlacht // *The Journal of Modern History*. 2014b (forthcoming).
- Emotional Turn? Feelings in Russian History and Culture // *Slavic Review*. 2009. Vol. 68. No. 2, special issue.
- Fitzpatrick S.* Vengeance and Ressentiment in the Russian Revolution // *French Historical Studies*. 2001. Vol. 24. No. 4. P. 579–588.

- Fitzpatrick S.* Happiness and Toska: An Essay in the History of Emotions in Pre-war Soviet Russia // *Australian Journal of Politics and History*. 2004. Vol. 50. No. 3. P. 357–371.
- Fitzpatrick S., Geyer M.* Beyond Totalitarianism. Stalinism and Nazism Compared. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Ginzburg C.* The Cheese and the Worms: the Cosmos of a Sixteenth-Century Miller. L.: Routledge & Kegan Paul, 1980.
- Graeber D.* Debt: The First 5,000 Years. Brooklyn: Melville House, 2011.
- Hann C.M., Goltz H.* Eastern Christians in Anthropological Perspective. Berkeley: University of California Press, 2010.
- Hellbeck J.* Revolution on My Mind. Writing a Diary under Stalin. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006.
- Hellbeck J.* Die Stalingrad Protokolle. Sowjetische Augenzeugen berichten aus der Schlacht. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2012.
- Hunt L.* The New Cultural History. Berkeley; Los Angeles; L.: University of California Press, 1989.
- Iriye A., Saunier P.-Y.* The Palgrave Dictionary of Transnational History. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2009.
- Iriye A., Saunier P.-Y.* Global and Transnational History: The Past, Present, and Future. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.
- Johnston T.* Being Soviet. Identity, Rumour, and Everyday Life under Stalin 1939–1953. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Keane W.* Christian Moderns: Freedom and Fetish in the Mission Encounter. Berkeley: University of California Press, 2007.
- Kearney M.* The Local and the Global: The Anthropology of Globalization and Transnationalism // *Annual Review of Anthropology*. 1995. Vol. 24. No. 1. P. 547–565.
- Kotkin S.* Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. Berkeley; Los Angeles; L.: University of California Press, 1995.
- Krylova A.* Soviet Women in Combat. A History of Violence on the Eastern Front. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Luhrmann T.M.* When God Talks Back: Understanding the American Evangelical Relationship with God. N.Y.: Vintage Books, 2012.
- Lutz C.* Unnatural Emotions: Everyday Sentiments on a Micronesian Atoll and Their Challenge to Western Theory. Chicago: University of Chicago Press, 1988.
- Lutz C., White G.M.* The Anthropology of Emotions // *Annual Review of Anthropology*. 1986. Vol. 15. No. 1. P. 405–436.
- Malia M.* The Soviet Tragedy. A History of Socialism in Russia, 1917–1991. N.Y.: The Free Press, 1994.
- Marcus G.E.* Ethnography in / of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography // *Annual Review of Anthropology*. Vol. 24. No. 1. P. 95–117.
- Markwick R.D., Cardona E.* Soviet Women on the Frontline in the Second World War. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.

- Myers F.R.* Pintupi Country, Pintupi Self: Sentiment, Place, and Politics among Western Desert Aborigines. Washington: Smithsonian Institution Press, 1986.
- Nader L.* Up the Anthropologist — Perspectives Gained from Studying Up // D. Hymes (ed.). *Reinventing Anthropology*. N.Y.: Pantheon Books, 1972. P. 284–311.
- Plamper J.* *Geschichte und Gefühl: Grundlagen der Emotionsgeschichte*. Munich: Siedler, 2012.
- Poe M.* Fight Bad History with Good, or, Why Historians Must Get on the Web Now // *Historically Speaking*. 2009. Vol. 10. No. 2. P. 22–23.
- Poe M.* Getting the Word Out 2.0 // *NewsNet. News of the Association of Slavic, East European, and Eurasian Studies*. 2012. Vol. 52. No. 5. P. 8–9.
- Reese R.* *Why Stalin's Soldiers Fought. The Red Army's Military Effectiveness in World War II*. Lawrence: University Press of Kansas, 2011.
- Robbins J.* *Becoming Sinners: Christianity and Moral Torment in a Papua New Guinea Society*. Berkeley: University of California Press, 2004.
- Rosenwein B.H.* Worrying about Emotions in History // *The American Historical Review*. 2002. Vol. 107. No. 3. P. 821–845.
- Sahlins M.* *Islands of History*. Chicago: University of Chicago Press, 1985.
- Saunier P.-Y.* *Transnational History. Theory and History*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.
- Schieffelin E.L.* *The Sorrow of the Lonely and the Burning of the Dancers*. N.Y.: St. Martin's Press, 1976.
- Sewell W.H.* Whatever Happened to the “Social” in Social History? // J.W. Scott, D. Keates (eds.). *Schools of Thought. Twenty-Five Years of Interpretive Social Science*. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2001. P. 209–226.
- Stasch R.* The Poetics of Village Space When Villages Are New: Settlement Form as History-Making in West Papua // *American Ethnologist*. 2013. Vol. 40. No. 3. P. 555–570.
- Steinberg M.D., Sobol V.* *Interpreting Emotions in Russia and Eastern Europe*. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2011.
- Suny R.G.* *Why We Hate You: The Passions of National Identity and Ethnic Violence* // UC Berkeley: Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet Studies. 2004. <<http://escholarship.org/uc/item/3pv4g8zf>> (retrieved 13 January 2013).
- Tomlinson M., McDougall D.L.* *Christian Politics in Oceania*. N.Y.: Berghahn Books, 2013.
- Trouillot M.-R.* *Anthropology and the Savage Slot: The Poetics and Politics of Otherness* // R.G. Fox (ed.). *Recapturing Anthropology: Working in the Present*. Santa Fe, NM: School of American Research Press, 1991. P. 17–44.
- Werbner P.* (ed.). *Anthropology and the New Cosmopolitanism: Rooted, Feminist and Vernacular Perspectives*. N.Y.: Berg, 2008.

Werner M., Zimmerman B. Vergleich, Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der Histoire croisée und die Herausforderung des Transnationalen // Geschichte und Gesellschaft. 2002. Vol. 26. No. 3. P. 607–636.

Werner M., Zimmerman B. Penser l'histoire croisée: entre empirie et réflexivité // Annales: Histoire, Science sociales. 2003. Vol. 58. No. 1. P. 7–36.

Пер. с англ. Аркадия Блюмбаума

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ: ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Десять лет назад, в первом номере нашего журнала, прошла дискуссия «Современные тенденции в антропологических исследованиях», и теперь мы решили обсудить, что изменилось за это время в нашей науке.

Напомню кратко о тех тенденциях, которые обсуждались в дискуссии десятилетней давности (Антропологический форум. 2004. № 1). Речь шла о переключении внимания исследователей на темы, прежде считавшиеся маргинальными, и, соответственно, резко расширении круга исследуемых объектов; о смещении исследовательского фокуса с деревни на город и с прошлого на настоящее. В качестве причин этих перемен указывались кризис «больших теорий», переход от интерпретативных стратегий к описательным, фрагментация исследовательского поля, изменение отношения к таким прежде ключевым понятиям, как «культура», «народ» и др. По сути дела, говорилось о кардинальных изменениях исследовательских ориентиров.

Сейчас, по мнению участников обеих дискуссий, начало 2000-х вспоминается как период ожиданий и надежд, время свободы выбора тем и сюжетов (Константин Богданов). Казалось, «что антрополог может в принципе зафиксировать всё» (Левон Абрамян). Эйфория, которая была особенно присуща русскоязычным участникам первой дискуссии, по вполне понятным причинам (для них открывался не столько новый мир, сколько новые возможности), сменилась более трезвым взглядом на происходящее. Как верно сформулировала Катриона Келли, «значительно убавилось пафоса первопроходцев и прибавилось рефлексии».

1

Судя по ответам, сейчас наблюдается дальнейшее тематическое расширение, чтобы не сказать расползание, антропологии. Причем, по мнению Сергея Соколовского, «фрагментация дисциплины, уже и в последние советские десятилетия не бывшей единой, зашла сегодня настолько глубоко, что мы имеем дело с набором слабо связанных между собой специализаций и сообществ». Нужно сказать, что это обстоятельство заметно по репликам: большинство участников дискуссии предпочитают комментировать тенденции в своей области, не замахиваясь на более широкие обобщения.

Вполне возможно, что размывание границ дисциплины становится более явным по той причине, о которой говорит Александр Панченко: «Развитие электронных сетей, способов хранения и поиска информации существенно трансформировали “ремесленную” сторону специализированных гуманитарных исследований. <...> Стало очевидным, что именно “старые” способы хранения и использования информации были одним из главных факторов в формировании и поддержании дисциплинарных границ». По мнению автора, лучшим выходом из ситуации сосуществования традиционных специализаций и институций с постоянным размыванием дисциплинарных границ будет понимание их условности, что позволит «сохранять и даже оберегать старые институциональные “бренды”, наполняя их новым исследовательским содержанием». Собственно, так теперь и принято относиться к этой проблеме, из-за которой сломано столько копий.

С точки зрения участников дискуссии, изменилось не столько теоретическое видение, сколько практика антропологического исследования. Давно уже поставлено под сомнение основное определение антропологии как науки о «других». «Критики антропологии указывали, что сам по себе проект изучения других эпистемологически и этически являлся подозрительным, особенно когда эти другие оказывались менее влиятельными в глобальной политической экономии, чем сами ученые» (Марк Эделе и Дебра МакДугалл). Лики «других» постоянно менялись (туземцы, угнетенные, бедные и т.д.), но «если более ранние поколения ученых должны были оправдывать “studying up”, т.е. исследование образа жизни социальных верхов, то ученые нашего времени считают необходимым оправдывать свой интерес к таким социальным формам, как “деревня”» (Марк Эделе и Дебра МакДугалл). Другими словами, отмеченная в дискуссии десятилетней давности тенденция смены фокуса исследовательского интереса с деревни на город настолько «реализовалась», что теперь уже возвращение к «деревне» требует обоснования. Антропология, по мнению Екатерины Мельниковой, все больше становится наукой о «своём». Точ-

нее, наверное, было бы говорить о «другом» в «своем».

Изменения в тематической направленности антропологических исследований диктуются, помимо всего прочего, и политизацией науки, на что обращает внимание Катриона Келли: «Примечательной особенностью 2000-х гг. мне кажется несомненное возвращение того “большого нарратива”, о котором я лишь вскользь упомянула в 2004 г., — нарратива национального превосходства». Этот нарратив, как правило, сочетается с очередной волной патриотизма. Для околонучных чиновников актуальными становятся вполне определенные темы, которые получают финансирование в первую очередь. Впрочем, это вполне естественно для чиновников. Катриона Келли справедливо отмечает, что «значительно больше беспокоит поощрение довольно специфического рода анализа — возросшее ожидание, что высказывания по поводу прошлого и настоящего России должны служить “патриотическим” целям».

Антропологам приходится приспосабливаться не только к кардинальным преобразованиям информационного и политического порядка, но и к эпохальным сдвигам от национального к транснациональному, от локального к глобальному. Участники дискуссии особое внимание уделяют изменению статуса «локального» и его преобразованию в «глокальное», поскольку в таком случае речь идет не только о необходимости теоретического освоения новой конструкции мира, но и о самой сердцевине антропологической работы, которая всегда основывалась на конкретном, локальном поле. По мнению Николаса Харни, «антропологам пришлось понять, как осмыслить “глобальное в самом сердце локального”, тогда как интимность локального, где в основном происходило порождение антропологического знания, казалось, должна была исчезнуть». С его точки зрения, можно попытаться постичь «глобальное в локальном» через изучение распространения и практики современных корпоративных форм управления, осуществляемых официальными и неправительственными организациями, чем он и занимается в своем проекте, посвященном мигрантам в Неаполе.

Любопытно, что в прошлой дискуссии проблемы полевых исследований практически не упоминались, а сейчас их затрагивают многие участники обсуждения. В нескольких ответах речь идет о том, насколько изменилось «местное население». По мнению Владимира Богданова, местные жители стали более открытыми, что позволяет существенно расширить проникновение в прежде закрытые для посторонних темы, поскольку «сами носители традиции, теперь не столь строго соблюдающие запреты, стали если не с удовольствием, то во всяком

случае без особого стеснения рассказывать о колдовстве, нечистой силе и т.д.».

Между тем Иоахим Отто Хабек отмечает атмосферу недоверия и подозрительности к иностранному исследователю в России, что, по его мнению, проистекает из «подчеркнуто консервативного поворота широких слоев российского общества». Вместе с тем он считает, что сибирские жители не хуже исследователей освоились в новой информационной ситуации. Это приводит к еще одному существенному сдвигу в полевой работе: она не заканчивается с отъездом исследователя, а перерастает в постоянное общение. На этом фоне уже кажется вполне естественным, что информанты все чаще привлекаются в качестве соавторов публикаций, на что указывает Флориан Штаммлер.

Как я уже сказал, авторы ряда ответов сосредоточились на «своих» регионах. Мадлен Ривс, характеризуя ситуацию в изучении Средней Азии, отмечает, что за истекшие десять лет в странах этого региона возросла публикационная активность, расширилось концептуальное содержание поля. Уже нет оснований для упреков в том, что местные исследователи сравнительно мало занимаются современностью. Вместе с тем рост исследований в отдельных странах этого региона неравномерен. Особое беспокойство вызывают «долгосрочные перспективы исследований в регионе, который стал менее доступен для исследователей, чем десять лет назад, и который грантодатели рассматривают как маргинальный по отношению к их стратегическим интересам».

В антропологии Арктики — свои изменения. По мнению Флориана Штаммлера, к настоящему времени «арктическая антропология частично освободилась от служебного статуса при политике и естественно-научных исследованиях климатических изменений. Значимость антропологического изучения арктических обществ и культур, использующего включенное наблюдение, возросла вместе с политическим значением региона в целом. Сегодня кажется, что арктические антропологи могут позволить себе следовать собственной исследовательской проблематике и при этом оставаться значимыми и заметными в общественной дискуссии. Нам “разрешено” вносить свой вклад в сами основы антропологического проекта».

Иоахим Отто Хабек отмечает сдвиг в своих проектах от классических этнографических исследований населения Сибири в сторону социологии. «Этот сдвиг осуществлялся по разным направлениям: методология, содержание исследования, корпус работ, на которые опирались мы с коллегами, а также те научные дебаты, в которых мы хотели участвовать своими

проектами. Я полагаю, что антропологические исследования Сибири могут многое почерпнуть у социологической теории и этим расширить свою базу знаний и свою социальную значимость».

Отдельный вопрос — об отношениях между российской и западной наукой. Он не был задан редколлегией, но поднимается с обеих сторон. По мнению Екатерины Мельниковой, «произошла частичная интеграция российских антропологов в международную среду. Западная среда вросла в отечественную историографию». Тем не менее о полной включенности пока речь не идет. Граница продолжает отчетливо ощущаться.

В этом плане показательна оценка отношений между западными и российскими антропологами Иоахима Отто Хабекка: «Я полагаю, что ученые России и Запада на сегодняшний день все более нацелены на взаимопонимание, способны понять друг друга и добиваются этого, но меня беспокоит разочарование России в Западе, а также не менее разочарованное отношение западных средств массовой информации и широкой публики к России». Боюсь, что с учетом украинских событий «взаимное разочарование» может лишь окрепнуть.

2

Ответы на вопрос об изменениях в научном сообществе затрагивают в основном изменения во взаимоотношениях между разными научными поколениями. С точки зрения Марка Эддле и Дебры МакДугалл, «мы должны переживать поколенческий сдвиг в том, что касается облика социальных и гуманитарных наук. Бебибумеры (люди, рожденные в конце 1940-х и начале 1950-х гг.) сходят со сцены, и несколько групп молодых ученых, обладающих очень разным жизненным опытом, ожиданиями и мировидением, готовы занять их место».

Применительно к российской антропологии (и шире — гуманитарной науке) Сергей Соколовский говорит о катастрофическом старении и почти полном отсутствии среднего поколения. «В результате аспирантам навязываются концептуально устаревшие подходы и темы, а по-настоящему инновационная тематика не опознается как “этнографическая” (“антропологическая”) и поддерживается скорее как исключение или случайность. Тем самым на ведущих университетских кафедрах и в аспирантурах научных центров в тематике диссертаций бесконечно воспроизводятся вариации на хорошо известные темы, а новаторские исследования маргинализуются, их авторам приходится искать работу за пределами академии или дисциплины». Как всегда, существуют исключения, к числу которых относится, например, факультет антропологии ЕУСПб, где приветствуются новые подходы и темы.

Кроме того, отмечается бóльшая прагматичность младшего поколения, которое, по мнению Левона Абрамяна, «в целом выбирает “проходные” темы. Особенно если эти темы “грантовые”. Нередко их названия более привлекательны, чем содержание. Впрочем, это можно заметить и в международной антропологической практике — достаточно сравнить заглавие и содержание статей во вполне авторитетных журналах».

Вместе с тем, несмотря на разницу в тематических предпочтениях и методологических процедурах, отношения между представителями разных поколений вряд ли можно характеризовать как напряженные. «Если в нашей области и возникают какие-либо принципиальные конфликты, то они имеют скорее научно-идеологический, а не “межпоколенческий” характер» (Сергей Неклюдов).

О структуре научного сообщества высказался лишь Иоахим Отто Хабек, который обратил внимание на то, что сообщество исследователей Арктики «все еще составляют люди, живущие в России, европейских странах, Северной Америке и Японии. До настоящего времени антропологов из Индии, Китая или Мексики в Сибири, например, было мало, итоги их исследований пока публикуются редко <...>. Это отражает старые колониальные связи и асимметричные отношения в продуцировании научного знания».

3

Отношения науки с внешним миром серьезно волнуют всех наших авторов, что естественно, поскольку благополучие науки так или иначе зависит от этого «внешнего мира». По мнению Катрионы Келли, «наступление на академическую автономию в интересах политической целесообразности становится реальной перспективой». Российские исследователи особенно чувствуют это по дискуссиям вокруг так называемой реорганизации Академии наук, которые «показывают механизмы и мотивы, призванные трансформировать ученое сообщество в менеджмент-группу, реализующую интересы госчиновников, выступающих от имени государства, общества, “общественной пользы” и т.д.» (Константин Богданов).

С точки зрения Сергея Неклюдова, «как это и бывает в годы социально-идеологических кризисов, общество разочаровывается в рациональном знании. <...> Особенно это касается “чистого”, т.е. “фундаментального” знания (“чистоту” которого, как и связь со знанием “практическим”, можно обсудить отдельно). Его ценность упала чуть ли не до нуля».

С Сергеем Неклюдовым, кажется, полностью солидарен Юрий Березкин: «В России наука не нужна ни обществу, ни элите».

Если наши институты вместе со всеми своими сотрудниками вдруг исчезнут, никто не обратит на это внимания. Показательно, что поразительные открытия, сделанные за последние 20 лет, остались обществом не замечены». Сергей Соколовский указывает на причины отставания и провинциализации российской антропологии, среди которых сокращение финансирования науки, отсутствие инфраструктуры для горизонтальной мобильности, падение качества образования.

Серьезной проблемой является и «начетническая практика импакт-факторов и необходимость печататься в конкретных, престижных и псевдопрестижных, изданиях» (Левон Абрамян). Об этом же пишут Марк Эделе и Дебра МакДугалл: «На нашей кафедре преподавательская нагрузка распределяется в соответствии с успехами в сфере публикаций и получения грантов (они измеряются индексом, который без иронии именуется “Сократическим”); большее количество публикаций означает уменьшение преподавательской нагрузки. На нижней ступени лестницы стоят ученые, которых нанимают по контракту и которые целиком зависят от благосклонности получающих гранты профессоров. Везде академические системы продолжают производить больше защитивших диссертации, чем количество рабочих мест в науке».

Вместе с тем отмечены и позитивные сдвиги. «Арктическая антропология за последнее десятилетие многого добилась в сфере общественного внимания и общественной значимости. Этому способствовало прежде всего усиление политической важности Арктики, в первую очередь благодаря публичной дискуссии о климатических изменениях, а затем и о промышленном развитии. Следует, однако, признать, что и ученые не уклонялись от того, чтобы демонстрировать свои исследования обществу и политикам» (Флориан Штамлер).

И все же будущее науки не может не тревожить. «Официальная политика нетерпимости к разнообразию объяснений, конечно, не приведет к всеобщему согласию, учитывая всю сложность обществ, в которых мы живем. Но такая политика вполне может изменить научное сообщество, да так, что беспечная дискуссия 2004 г. потеряет всякую актуальность — не только потому, что теперь мы принимаем как должное нашу способность создавать какие угодно собственные нарративы, как и предполагается в списке вопросов, но и потому, что “реальная политика” (Realpolitik) вынуждает нас вооружаться нарративами, которые прямо отвергают “стратегические приоритеты”, обозначенные правительством» (Катриона Келли).

4

Что же касается ответов на вопрос о том, кто задает векторы развития (школы или отдельные исследователи), можно говорить о почти единодушном мнении: школы существуют, но векторы развития задаются отдельными исследователями. Как справедливо отмечает Александр Панченко, «современная наука вообще имеет не “иерархическую”, а “сетевую” организацию, т.е. состоит не из групп, возглавляемых харизматическими лидерами, а из неформальных (как правило, международных) сообществ, имеющих скорее эгалитарный характер. <...> Стоит иметь в виду, что понятие “школы” связано не только с представлениями о научной иерархии, но и с идеей эпистемологического монизма, ориентацией на “единые” и “универсальные” объяснительные модели. Думаю, что подходы такого рода тоже уходят в прошлое». Детальная картина соотношения лидеров и сообществ в российской антропологии предложена в статье Сергея Соколовского, публикуемой в этом номере нашего журнала.

Состоявшаяся дискуссия показала, что десять лет — небольшой срок для того, чтобы говорить о значительных сдвигах в антропологии. Каждая из отмеченных в прошлой дискуссии тенденций развивалась по-своему: тематическая фрагментизация только усиливается; перенос внимания от «деревни» к «городу» воспринимается как давно свершившийся факт; изучение современности даже не обсуждается, поскольку именно ею антропологи преимущественно и занимаются.

Из нового: усиливается зависимость антропологических исследований от политических «целесообразностей», преобразований, вызванных информационным поворотом. В ситуации глобальных сдвигов на первое место выходит озабоченность состоянием своего поля (не случаен акцент на локальном и региональном). Тревожит и отношение общества к науке, особенно в России.

Редколлегия благодарна всем участникам обсуждения.

Альберт Байбурин